

Иван Меньшиков

Иван Меньшиков

БЕССМЕРТИЕ

ЧЕЛЯБИНСК
ЮЖНО-УРАЛЬСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
1984

ББК 84Р7
М51

Составитель
Маслов Д. М.

Меньшиков И. Н.

М51 Бессмертие: [Повести и рассказы]/Сост. Маслов Д. М.— Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1984.— 168 с.

В пер. 1 р., 30 000 экз.

Иван Николаевич Меньшиков, уроженец Челябинской области, погиб в 1943 году на земле партизанской Белоруссии при выполнении ответственного задания ЦК ВЛКСМ.

В новую книгу писателя вошли повести и рассказы, отражающие две главные темы его творчества: жизнь ненецкого народа, возрожденного Октябрем, и героизм советских людей в Великой Отечественной войне.

М $\frac{70302-048}{М162(03)-84}$ 32—84 4702010200

ББК 84Р7
Р2

◆ ПОВЕСТИ ◆

ДРУЗЬЯ ИЗ ДАЛЕКОГО СТОЙБИЩА

Улыбка любимой девушки — хорошо,
И рыбой озера полные — хорошо,
Но в небе Нгер Нумгы всю ночь стоит,
А путь твой еще не начат...

Ненецкая пословица

А нарты поют свою песенку

Мне бы песню хотелось спеть об этой веснушчатой девушке. В этой песне я бы рассказал о том, как спускается над миром великая полярная ночь, вспыхивает на полнеба северное сияние, далекое и холодное; о том, как лиловеют снега и фиолетовые тени ползут по сопкам от северных звезд. Но где мне найти такие слова?

Маленький аргиш семнадцать суток мчится по поющему насту, и на последних нартах сидит девушка с обмороженным лицом. Девушку зовут Тоня Ковылева, и она плачет от обиды. Резкий, пронизывающий ветер застудил ее. Ноги онемели. Ей хочется упасть в снег и заснуть крепко, надолго, как она никогда не спала за всю свою жизнь, полную ошибок и детских обид.

Но ясовей гонит упряжку все дальше и дальше и только иногда останавливает ее, чтобы покормить оленей и справиться, не замерзла ли хабеня и не хочет ли она поспать, как слабый человек.

И Тоня говорит:

— Я вовсе не слабая. Я такая же, как и все люди.

И втихомолку вытирает слезы, засыпая на ходу.

Проводник сочувственно улыбается, ставит палатку и переносит в нее девушку.

Недолгий сон ее по-детски бездумен и крепок.

Луна вновь показывается над восточными сопками, и проводник будит девушку.

И вновь бесконечная песенка полозьев и чечетка оленьих копыт. Под ритм ее приятно вспомнить далекие города, оставшиеся позади, Костю, мать, и Москву, и подруг.

Вспомнить все, что забыто и оставлено на долгие месяцы неведомой и заманчивой жизни.

Звенит наст. Качаются низкие северные звезды, и Тоня вспоминает все, что стало сейчас таким далеким и милым... Высоко к небу поднимались тонкие прозрачные дымки.

— Видишь, хабеня,— сказал проводник и остановил аргиш на вершине сопки,— щеки потри, девушка, мороз...

Тоня слезла с нарт и достала платок. Она долго оттирала им лицо, пока щеки не запылали. Вскочив на нарты, посмотрела в долину. На дне ее полукругом расположилось стойбище. Несколько упряжек стремительно вылетели навстречу Тоне и ее проводнику.

— Сколько мы едем, а я не знаю, как вас звать,— устало говорит девушка.

— Хойко,— отвечает проводник.— Я ведь охотник.

— Хойко, значит,— говорит Тоня.— Это очень хорошо, что ты охотник.

— Поедемте, хабеня,— смущается юноша и, исподлобья всматриваясь в раскрасневшееся лицо девушки, с гиком садится на нарты.

Упряжка, окутанная снежной пылью, мчится прямо к стойбищу.

Оленеводы сдержанно улыбаются девушке. Юноши освобождают оленей от упряжи.

Тоня протягивает каждому маленькую озябшую руку.

— Здравствуйте,— говорят они,— мы вас давно ждем.

И, поставив вместе с проводником палатку, уводят Тоню в один из чумов.

«Итак, начинается моя вторая жизнь»,— невольно думает девушка, и от сознания этого на душу ее ложится какая-то щемящая, неосознанная грусть.

«Теперь уже поздно отступать, и Костя, и мама далеко. Пусть будет так».

— Здравствуйте,— неестественно весело говорит она, войдя в чум и еле различая при сумеречном свете костра лица мужчин и женщин.

— Ань-дорова-те,— неторопливо отвечает старик со слезящимися глазами, растирая в деревянной ступочке махорку.

Женщины подбрасывают в огонь хворосту, и Тоня видит широкие доски у костра. Слепая, горбатая старуха пододвигает к доскам деревянное лукошко с выжженными на крышке цветами, и губы ее тихо произносят:

— Садись, хабеня, устала, поди.

— Чаю попейте, чаек после дорожки хорош-хорош,— несется неожиданно ласковый голосок от занавески.

Пламя охватывает хворост со всех концов палевыми лепестками, и Тоня с надеждой всматривается в человека.

— Меня звать Васька Харьяг — первый что ни на есть помощник власти. Власть пришла новая, царя сбросили. Наш народ темный, что знает? Выбрали меня родовым старшиной. Пять лет ходил в начальниках, а в тундровый совет стали выбирать, я отказался. Что мне с бумагой делать? Люди ученые больше меня знают. Правду я говорю?

Черные волосы, подстриженные кружком, широкие скулы, узкие глаза.

«Нация...— думает Тоня.— Хороший человек. Побольше бы вот таких».

— А члены партии у вас есть? — спрашивает она.

— Как не быть! Есть. Явтысый. Зачем молчишь, сват?

Старик, неторопливо растиравший табак, смотрит на Тоню. Лоб его, странно изрезанный кривыми морщинами, лоснится от пота.

В тишине глухо тонут его слова, полные значения и силы:

— Васька Харьяг правду говорит.

Он откладывает ступку в сторону и торопливо что-то ищет под своей малицей. Маленький партийный билет, завернутый в шершавую шкурку нерпы, появляется в его левой руке.

— Вот,— произносит он.— Мне говорят, что я исключен, девушка. Посмотри, правда ли это?

— Я думаю — так правда. Исключили,— равнодушно говорит Васька Харьяг.

Тоня невольно поворачивается на голос. Надменная улыбка «помощника власти» настораживает ее. Тоня сурово смотрит на Ваську Харьяга, и тот мрачнеет.

— Все в порядке, товарищ Явтысый,— говорит она,— ничего особенного. Взносы отвезете через месяц — это разрешается.

Явтысый с благодарностью смотрит в сухощавое лицо девушки и, не зная, чем выразить полноту своих чувств, подносит ей табакерку. Не успевает он опомниться, как Тоня берет на ноготь щепотку и нюхает. Слезы брызжут из ее глаз, и она долго чихает под хохот мужчин, женщин и детей.

— Вот лешак-то! — восхищенно говорит кто-то из темноты.— Грамотная и табак нюхает. Хорошо!

Тоня хохочет вместе со всеми и, сняв рыжий полушу-

бок, садится пить чай. Васька Харьяг неожиданно подходит к ней.

— Приезжай-ко в гости, чего ли. Я, взять к примеру, недалеко живу.

— Хорошо,— говорит Тоня,— я объеду все ближайшие чумы, узнаю, кто как живет, и начну обучать всех детей грамоте.

— Тарем,— говорит Васька Харьяг, а лицо Явтысого мрачнеет.

Когда гость выходит, Явтысый говорит тихо, одними губами, поднося кружку чаю девушке:

— Это шаман, хабеня. Понимаешь?

— Да,— так же тихо отвечает Тоня,— теперь я понимаю...

Возвратившись в свою палатку, Тоня зажгла лампу-молнию и, поставив ее на тумбочку, долго не могла заснуть на маленькой складной койке. Какими-то далекими-далекими казались ей прошедшие годы, юность, детство. Она пока одна наедине с этим неизвестным миром.

«Хорошо, что так много книг взяла»,— думает Тоня.

И бояться ей тоже нечего: чем она хуже других? Шаманы. Кулаки. Неизвестная жизнь. Да это и не так уж страшно. И то, что Явтысый попросил поддержки у нее, беспартийной девушки,— разве не доказательство того, что она здесь нужна больше, чем ее подруги, имеющие только мужей и нигде не работающие? А трудно было всем: и Феликсу Эдмундовичу, и Владимиру Ильичу.

Тоня улыбается теплой и гордой улыбкой. Она наполовину выползает из спального мешка и, подняв с полу чемодан, кладет его себе на колени. Из чемодана она вынимает маленький портрет Ленина и ставит его на тумбочку, подальше от лампы. Ильич щурит добродушно глаза, и Тоня тихо смеется от радости. Ей кажется, что Ильич понимает ее состояние и думает сейчас: «Ага, попала, Тонька! Боишься, трусиха?»

И, заснув, девушка продолжает волноваться за свое такое заманчивое будущее.

И снится ей, что Васька Харьяг — шаман — приходит в ее палатку и садится к тумбочке, где пьет чай Владимир Ильич.

— Здравствуй, гражданин Ленин,— говорит он.

— Садись,— отвечает Ильич.

Васька Харьяг хмуро садится на пол и говорит лисьим голоском:

— А мы придушим твою девку, гражданин Ленин.

Ильич улыбается насмешливо, гладит по лбу Тоню и говорит шаману:

— Попробуй...

— Она не комсомолка. Она беспартийная,— говорит Васька Харьяг.

Ильич долго всматривается в лицо Тони и вновь улыбается тепло и приветливо.

— Правда? — спрашивает он.

— Да,— шепчет Тоня.

— Тогда за нее ты, Васька Харьяг, ответишь втрое. Она беспартийная, а вот в тундру приехала. Далеко.

Шаман хочет что-то сказать, но Ильич смотрит на него угрожающим взглядом, и Васька Харьяг уползает из палатки.

— А в комсомол ты все-таки вступи,— тихо говорит Ильич,— трудно будет — не плачь...

— Обязательно вступлю,— шепчет Тоня и засыпает крепким, спокойным сном.

Утром к ней приходит Хойко. Войдя в палатку, он садится, поджав под себя ноги, и терпеливо ждет ее пробуждения. Тоня инстинктивно чувствует присутствие кого-то в палатке и открывает глаза.

— Здравствуй,— говорит Хойко и неожиданно выходит из палатки. Через несколько минут он возвращается и приносит вязанку хвороста. Тоня вновь прячется в спальный мешок.

— А ты не стыдись, хабеня, я ведь все знаю,— говорит спокойно юноша,— и потом, я на тебя не буду смотреть.

— Ну не смотри,— сердится девушка,— и потом, что ты такое знаешь, которое может называться «все»?

— Я учился в школе два года и прочел уже семь книг,— говорит Хойко,— я знаю, что такое девушка, и стыдиться этого не надо.

— Ого! — говорит смущенно девушка.— В следующий раз ты все-таки ко мне стучи, а то я рассержусь, понимаешь?

— Понимаю,— говорит Хойко,— все культурные люди стучатся в двери. Я это раньше помнил. Если бы я не убежал из школы, то это не забыл бы, верно.

И он старательно растопляет печку-каленку, снимает малицу и говорит:

— Жарко. Как в Архангельске.

— Зачем ты убежал из школы?

— Соскучился.

— О ком?

— Ты все равно этого не поймешь. Я соскучился по тундре.

— Отчего же,— сказала Тоня,— это очень понятно.

Они помолчали, внимательно вглядываясь друг в друга. Брови Хойко покрылись потом.

«Волнуется»,— улыбнулась Тоня.

— Знаешь,— сказала она,— ты умеешь говорить по-русски. Поедем со мной по чумам, а когда соберем ребятишек в школу, будешь вместе со мной готовиться в институт. Согласен? Ну, вот. А пока зови всех пастухов в гости. У меня чай попьем и радио послушаем.

Хойко утвердительно кивает головой и нарочито неторопливо выходит из палатки.

— Ой, сколько работы! — шепчет Тоня, и лицо ее становится задумчивым.

Двадцать пять дней пути до тундры она думала о своей будущей жизни. В Красном городе ей доверили тяжелую и поэтому, казалось Тоне, заманчивую работу — заведующей Красным чумом.

Три месяца по восемь часов в сутки она изучала на курсах красночумцев педагогику, ненецкий язык, радиотехнику и санитарию. Она подружилась с ненецкими девушками, и чувство большой гордости наполняло ее сейчас. Завтра она поедет по стойбищам собирать детишек. Тундровый совет поручил ей провести первичный учет. Она должна выучить за две недели до начала занятий с детьми пятьдесят ненецких слов.

Прижав щеку к прохладному целлулоидному оконцу, она смотрит на белесые холмы, покрытые полярной ивой. Неуверенный мягкий мрак ползет по снегам от горизонта, и бледные северные звезды становятся ярче. Темнота уже сгустилась в щелях оврагов. Курится поземка вокруг чумов, ероша и без того лохматых собак, свернувшихся калачами у нарт. Из соседнего чума выходит Явтысый. За ним тянутся женщины и дети.

— Проходите,— говорит Тоня, откидывая парусиновое полотнище, прикрывающее вход в палатку.

Хойко вновь подкладывает хворосту в каленку, и через минуту в палатке становится так жарко, что мужчины откидывают капюшоны малиц и торопливо садятся на пол.

— Радио будем слушать,— говорит Тоня, садясь к радиоприемнику и включая лампы накала.

Редкий поток звуков наполняет палатку до отказа. В свисте и речитативе азбуки Морзе еле-еле слышны затихающие слова цыганской песни.

Тоня ловит радиостанцию, и невидимый конферансье объявляет:

— Церетели сейчас исполнит...

«В Доме союзов, наверное»,— думает Тоня, радуясь, что до Дома союзов далеко-далеко...

А Церетели тем временем поет песенку о нищем цыганском таборе. В песенке есть много несказанно грустного — бескрайние русские просторы, серые дороги, покрытые теплой пылью, маленькие березовые перелески, мокнущие под осенним дождем, и одинокие слезы девушки, потерявшей любимого...

Только Тоня легла спать, свернувшись под теплым байковым одеялом, как в оконце кто-то постучал. Тоня вздрогнула и повернулась к светлому квадратику.

— Можно? — услышала она голос своего проводника.

— Завтра, Хойко. Завтра обо всем поговорим.

— Нет. Надо сегодня, хабеня.

И не успела Тоня как следует подумать об этом, как в палатку вошел Хойко.

Лицо его было тревожным.

— Глупая,— сказал он,— ты боишься меня как мужчины? Не бойся. У меня уже есть невеста, и я к тебе приставать не буду. Не зажигай огонь, так лучше.

— При чем тут невеста? — испуганно спросила девушка.

— Когда мне было три года, мои родители уже высватали мне невесту. Ей было около двух лет. Они ей подарили залог: трех олешков, серебряное обручальное кольцо и алый венчальный платок. Теперь ей уже шестнадцать лет, и через два года мы поженимся. Я только не знаю, какая она. Мне ее не показывают.

— Ой, как интересно! — выпростав из-под одеяла руки, сказала Тоня.— А если ты в другую влюбишься?

— Я не знаю, что такое любовь,— сказал Хойко.— Если ты знаешь, что это такое,— расскажи. Мне нравится твой голос, и мне хорошо с тобой. Верно, ты — хороший человек!

Тоня смущенно посмотрела на Хойко, на его лицо, задумчиво-грустное.

— Это нельзя объяснить, Хойко,— сказала она.— Там, в Москве, далеко отсюда, у меня есть любимый парень. Звать его Костя. Он работает на фабрике. Мне с ним почти всегда бывает хорошо. Верно, это и есть любовь.

Тоня замолчала. Хойко сгорбившись сидел на ее чемодане и смотрел в оконце. Так хорошо было обоим молчать и каждому думать о своем.

— А знаешь, кто такой Васька Харьяг? — первым нарушил тишину Хойко. Голос его был уже тверд и спокоен.

Тоня поняла, что обидела его чем-то.

— Шаман, Хойко. Это вроде наших попов и знахарей.

— Это правда. Но его зовут Харьягом...

— Ну и что же?

— Харьяг — это на твоем языке, хабеня,— извилистая река, понимаешь?

— Нет,— растерянно пожала плечами девушка,— что ж из этого, что его зовут «Васька Извилистая река»?

— Его не прозвали прямой рекой, девушка. Утром он будет здесь, чтобы ты ездила только с ним. Понимаешь?

Тоня задумалась. На лбу ее собралась тонкая резкая складка.

— Так,— сказала она.

Хойко сурово улыбнулся и встал.

— Тогда мы едем с тобой, Хойко. Ты, наверное, очень хороший парень, понимаешь? Только не хмурься. Не люблю хмурых.

Хойко засмеялся и вышел из палатки.

Через полчаса он подъехал с оленьей упряжкой и, постучав в оконце, занес Тоне малицу.

— Одень, девушка, замерзнешь.

— Ишь ты,— сказала Тоня,— тоже заботится об уюте, как моя мамаша. Я не ребенок.

— Как хочешь,— сказал Хойко,— до пармы Васьки Харьяга далеко.

И, подхватив Тонин чемодан, он вышел из палатки. Малицу он положил на нарты, закутав в нее чемодан, и все это прикрутил к копыльям тонким ремнем. Тоня вышла в романовском полушубке с большим рыжим воротником. Она села на нарты и, близоруко всматриваясь в нежно-лиловый горизонт, сказала:

— Едем!

— Охэй! — крикнул юноша и, прикрывая девушку своей спиной, повел упряжку между холмов, по руслу узкой реки.

«Хорошо»,— подумала Тоня.

Стеклянную и грустную песенку поют нарты. Серебристый иней тонкой пыльцой оседает на рукавах ее полушубка. Мимо пролетают овраги. Они кажутся странно глубокими, потому что в них отстоялась темнота, похожая на

воду. Края оврагов оторочены резкой каемкой кустарника. Это похоже на атолл — коралловый ошейник с лагуной в середине.

Вершины сопок бледно-лиловы от незримого света. Хорошо быть в далеком пути на поющих свою песенку нартах! И ничего в мире нет, кроме низких, кое-где проступающих звезд, бледных, мягко светящихся.

— Хорошо,— шепчет девушка.

Может быть, и она здесь родилась когда-то, много тысячелетий тому назад. Она ела сырое мясо и пила тепловатую оленью кровь. Почему так сильно горит одинокая звезда почти над ее головой? Это Полярная звезда. Олени, закинув рога на спину, мчатся, резко выбрасывая в сторону ноги. Грустными красивыми глазами они смотрят на Нгер Нумгы — свою звезду. Тоня знает, почему они в тихие ночи так грустно глядят на Полярную звезду! Эту ненецкую сказку она слышала еще в городе.

Великий Нум, создав человека, опустил его на землю. Он сказал человеку:

— Если ты достоин жизни, проживи один, ничего не требуя от меня.

И спустился человек на землю, и заплакал он от горя. Снег от края до края покрывал ее.

И взмолился человек перед богом, и сказал Великий Нум гордости всех звезд — Нгер Нумгы:

— У тебя много оленей. Они едят ягель и не знают, что такое горе. Спусти их на землю, и когда люди станут богатыми все до одного, олени могут возвратиться к тебе. Своим светом ты будешь покровительствовать им.

И опустились олени на землю, чтоб служить людям. Они много работают и мало едят, а глаза их становятся из века в век печальнее.

И почему-то в тихие морозные ночи, когда Нгер Нумгы выходит на небо посмотреть свой народ, олени смотрят на нее, и глаза их наполняются слезами. Они просят Нгер Нумгы взять их обратно к себе, но Великий Нум лишил их дара речи, и красавица Нгер Нумгы не берет их обратно к себе в Страну Голубого Света.

Тоня вздыхает. Ей по-хорошему грустно.

— Скоро приедем,— говорит Хойко,— чай будем пить. Ты замерзла?

— Нет,— говорит Тоня.— Помолчим давай. Мне очень хорошо.

— Помолчим,— говорит Хойко, но Тоне уже хочется говорить.

Она чувствует, как онемели ее ноги и холод пробрался к телу.

«Зря малицу не взяла»,— думает она.

— Подожди немного, я хочу узнать, крепкий ли наст,— говорит она смущенно и, не дожидаясь ответа, прыгает с нарт.

Олени резким рывком выносят нарты на вершину сопки, а девушка, падая на скованный морозом снег, поднимается и бежит вслед за ними. Плохо расхоженные валенки жмут ей ноги.

— Хойко! — кричит она, задыхаясь от радости.— Хойко!

Хойко смеется в ответ. Он размахивает хореем уже на вершине соседней сопки. При сумеречном свете звезд она видит, как он отвязывает чемодан и малицу.

Подбежав к упряжке, Тоня покорно надевает малицу и толкает в снег Хойко.

— Вот беда,— говорит Хойко,— ученая, а толкается!

Они смеются оба заразительно, как дети.

«Да он такой же, как я»,— думает Тоня, садясь на нарты.

При утреннем рассвете они въезжают в парму Васьки Харьяга.

Свежий след, правее крайнего высокого чума, успокаивает Хойко:

— Посмотри, девушка: Васька Харьяг час тому назад поехал за тобой.

— Ну что ж, за работу,— говорит Тоня, и голос ее звучит сурово и деловито.

В парме Васьки Харьяга стояло пять чумов.

— К Терентию Вылко пойдем,— сказал Хойко.

Они вошли в средний чум, прикрытый ветхими нюками.

Слабый свет, сочившийся через мокодан, еле освещал внутренность чума: чадящий костер, выщербленный по краям котел, подвешенный на крюке.

— Ань-дорова-те! — сказала Тоня.

— Здравствуй-здравствуй,— приветливо ответила пожилая женщина с русским лицом и уже поседевшими косами.

Мужчина, дремавший на шкурах у постели, поднял голову и посмотрел на Тоню. Зеленовато-желтое, испитое лицо. Пораженная нервным тиком левая щека, темная впадина на лбу у самых волос.

«Батрак»,— подумала Тоня сочувственно.

Делая вид, что она пришла только в гости, девушка на-

клонилась к костру и подула на огонь. Женщина удивленно посмотрела на русскую и подала ей хворост:

— Спасибо, что заехали. Пить чай будем.

Хойко крякнул от удовольствия, и женщина улыбнулась.

— Закурим, Терентий,— сказал Хойко и бесцеремонно взял у хозяина кисет.

— Закурим,— тихо ответил Терентий, и на глазах его показались слезы.

— Не надо, Терентий,— мягко сказал Хойко,— он тебя чем-нибудь обидел?

Терентий испуганно посмотрел на Тоню и торопливо ответил:

— Нет-нет, нет.

— Ну, вот и хорошо,— сказал Хойко,— давай-ка лучше чаю попьем, оно и ладно будет. У русской хабени чай-то есть ли?

— Есть у меня чай,— засмеялась Тоня,— принеси чемодан.

Хойко вышел из чума и принес чемодан.

Тоня достала чаю и конфет.

Распивая чай, Тоня рассматривала паницу хозяйки — из белых шкурок, она была расшита разноцветными сукнами и делала женщину очень красивой.

— Хорошая у тебя хозяйка, Терентий.

Лицо хозяина засветилось теплой улыбкой.

— Хорошая? — еле слышно переспросил он.— Она очень хорошая.

«Теперь приступим к делу»,— подумала Тоня и вслух:

— Верно, олешков у тебя много? Такая паница дорого стоит. Или ты в батраках?

— Я ведь со своими олешками,— хмуро ответил хозяин и подозрительно посмотрел на девушку.

— Это хорошо,— сказала Тоня.— Сколько их у тебя? Голов триста будет?

— А может быть, и столь...

— А не тридцать?

— Пожалуй, и тридцать,— согласился Терентий Вылко.

Тоня взяла с колен Хойко коробку спичек и, рассыпав их на маленьком столике, попросила:

— Покажи, сколько их у тебя.

Терентий Вылко понимающе улыбнулся. Он быстро отложил шесть спичек на колени девушке и дальше не знал, что делать.

— У меня плохо выходит,— сказал он.

— Три спички еще положи, и будет правда,— посоветовала женщина.

— Сколько ты живешь у шамана Васьки Харьяга? — сурово спросила Тоня.

Терентий Вылко вздрогнул. Он опустил голову, и Хойко пришел ему на помощь.

— Не надо так, хабеня.

— А худо и помню,— тихо ответил Терентий Вылко.

— Десять и еще девять лет,— сказала женщина, и лицо ее перекосилось от злобы.

— Ты не плачь, Терентий,— задушевным голосом проговорила Тоня,— судиться тебе надо.

— Боюсь судиться. Выгонит. Куда я денусь?

Губы женщины вздрогнули. Руки ее задрожали, как у истерички, и, задыхаясь от гнева, внезапно охватившего ее, она сжала кулаки и, подняв их над головой, с ненавистью погрозила чуму хозяина, что стоял против выхода:

— Он его бьет каждый день. Он пробил ему хореем лоб, и у Терентия разум стал худым, как вода. Десять и еще девять лет он работал на Ваську Харьяга, а что получил, русская хабеня? От ревности он позвал злых духов, и у нас теперь никогда не будет детей. Мне тяжело так жить. Я хочу ребенка. Я хочу его, понимаешь ты, хабеня? А тебе трудно понять...

— Я понимаю это,— сказала смущенно Тоня.— У тебя уже уходят годы, но мы вылечим Терентия, и у вас будут дети.

— Я сильно люблю его,— сказала женщина, и глаза ее наполнились слезами.

Тоня пододвинулась к женщине и поцеловала ее в бледные губы, как подругу, у которой большое, но поправимое горе.

— Ничего. Все будет хорошо,— сказала она, и в душу ее легла первая тень человеческого горя.— Ничего.— Понимаешь?

Она молча попила чаю и вместе с Хойко пошла в соседний чум.

В чуме Васьки Харьяга его две жены шили одежду для батраков. Увидев вошедших Тоню и Хойко, они бросили работу и уползли за занавеску, что была подвязана за шесты над широкой постелью.

— Здравствуйте,— сказала Тоня.

— Им не полагается без мужчин разговаривать с посторонними,— сказал Хойко.— Садись к костру и подождем брата Васьки Харьяга. Он чинит нарты.

До слуха Тони действительно донесся стук топора, потом он стих, и через минуту вошел высокий мужчина в малице с откинутой сюмой.

— Ань-дорова-те! — приветствовал он, протягивая руку Хойко. Руку Тони он не взял.

«Не полагается, видно»,— с неприязнью подумала Тоня и вытащила синенькую тетрадку.

— Зачем приехали? — осторожно спросил мужчина.

Хойко кивнул головой на девушку.

— Из Москвы приехала, сват.

— Из Москвы?

— Да,— сказала Тоня,— буду жить в тундре и учить вас грамоте.

Мужчина промолчал. Он исподлобья осмотрел девушку, и на лбу его легла тяжелая складка.

— Мне все равно,— сказал он.

— Мы ничего и не хотим,— сказал Хойко,— она тебя только спросит немного, чтобы запомнить все это на бумаге, и мы можем попить чаю.

Мужчина посмотрел на женщин, и одна из них, взяв котелок, вышла за снегом.

— Большое хозяйство у вас? — спросила Тоня подчеркнуто равнодушно.

— Хозяйство?

— Сколько олешков, спрашивает хабеня.

— Олешков?

Мужчина потрогал левой рукой тощую бороденку и задумался. Через минуту он спросил:

— А зачем это знать хабене?

— Это нужно,— сказал Хойко.

— Ладно, я подумаю,— произнес мужчина, посмотрел в костер, покрытый легким пеплом листьев тундровой березки, встал и вышел из чума.

Вновь издалека донесся стук топора.

— Как ты думаешь — он скоро вернется? — спросила растерянно Тоня.

— Не знаю,— сказал Хойко,— он ведь кулак.

Вошла женщина с котелком, полным снега. Она подбросила хворосту в костер и ушла за занавеску.

— Хозяйка,— сказал Хойко,— Васька Харьяг просил тебя рассказать хабене, какое у вас стадо. Ему нельзя говорить об этом русской женщине, чтобы не заболели ваши олешки.

— Няхар йонар будет, однако,— сказала спокойно женщина.

— Три тысячи как не быть? — подтвердил юноша.— Запиши-ко.

Тоня записала.

— А как тебя звать, девушка? — спросила она.

— Ма-ань? Игарам.

Тоня записала в тетрадку «Мария».

— Не так записала,— поправил Хойко,— она спросила, про ее ли имя спрашивают.

— Конечно, про ее,— смутилась девушка.

— Она говорит, что не знает своего имени. Ее звать Олена.

— Надоели мне эти китайские церемонии,— сказала Тоня.

— Я не знаю, что такое китайские церемонии,— смущенно, точно извиняясь, сказал Хойко.

Тоня уныло посмотрела на Хойко и прислушалась. Стук топора прекратился. В чум вошел брат Васьки Харьяга. Он достал табакерку, понюхал и не торопясь посоветовал Хойко:

— В тундре худо жить — передай это хабене. В тундровом Совете знают, сколько у меня с братом олешек, пусть там спросит.

— Я это узнаю и у тебя,— сурово сжав губы, сказала Тоня,— завтра Васька Харьяг сам приедет и скажет мне. Иначе он не будет спокойно спать полгода.

— У тебя есть оружие?

Тоня вывернула карманы и открыла чемодан.

— Видишь, у меня нет оружия. Но завтра Васька Харьяг приедет ко мне и скажет, что у него олешков няхар йонар — три тысячи.

Мужчина пытливым взглядом обвел женщин, и те поежились от страха.

— В тунсовете записана только тысяча оленей, сват,— сказал Хойко.— В тунсовете думают, что у вас только один батрак...

— Нам нечего здесь делать,— захлопнув чемодан, сказала Тоня.— Нам не хотят говорить правду.

— Мы и без русских хорошо жили,— угрюмо ответил мужчина,— русским никогда мы кланяться не будем.

— До свиданья, брат Васьки Харьяга. Пусть завтра в мой чум приедут все ваши батраки. Послезавтра это уже будет поздно...

И Тоня вышла впереди Хойко.

Когда нарты двинулись в обратный путь, юноша и девушка услышали женский крик в чуме Васьки Харьяга.

— Он их бьет,— сказал Хойко.

Девушка вздрогнула.

— Остановись,— попросила она,— его надо проучить.

— Нельзя, хабеня,— мягко запротестовал Хойко.

— Остановись! — крикнула Тоня.— Я ему, сволочи, покажу!..

Хойко остановил упряжку.

— Ладно, поедем,— тихо сказала она,— пока еще рано... Надо обдумать. Гони скорее в тунсовет. Жалко, что я не собрала всех свидетелей.

Хойко улыбнулся и в низине между сопок, у кустов яры, остановил упряжку.

— Пиши,— сказал он, смеясь,— я ведь все знаю.

И озябшими руками Тоня записала страшные подробности жизни Васьки Харьяга и его брата. Хойко знал все.

— Что ж ты мне этого сразу в палатке не рассказал? — удивилась Тоня.

— Ты мне очень нравишься,— застенчиво улыбнулся Хойко,— мне хотелось ехать с тобой до самых теплых рек, откуда прилетают птицы.

— Ишь ты...— сказала Тоня и, сбросив варежки, провела озябшими руками по щекам Хойко.— Хочешь, я тебя поцелую?

И, крепко обняв за шею, она поцеловала Хойко в лоб ласковым дружеским поцелуем.

— Дай руку! Ты очень хороший парень.

И вновь бесконечная песенка нарт. Кажется, что они поют о многих годах хорошей дружбы. О том, что никак нельзя выразить скупой человеческой речью.

Под тихое похрустывание скованных морозом равнин хорошо думать о том, что впереди так много радостей, обид и счастья.

«Хойко!.. Милый»,— с нежностью думает Тоня.

Месяц Большого Обмана

Месяц Малой Темноты — ноябрь — Тоня Ковылева вправе была счесть за Месяц Большого Обмана. Весной она узнает, что так называется март.

А пока ей хорошо. У теплой каленки горка хворосту Тихая музыка из Скандинавии. За оконцем сполохи северного сияния. На тумбочке, за портретиком Ленина, стопка книг: Джек Лондон, Пушкин, Шолохов и Горький. Через час-два приедет секретарь тунсовета Миша Якимов. Он

строил Нарьян-Мар, и его послали в тундру как активного комсомольца. Тоня еще не видела его, и ей интересно, какой он из себя. Неделю назад она послала все сведения о парме Васьки Харьяга и получила записку:

«Товарищ Ковылева!

Вы — энергичная девушка, спасибо за точное выполнение наказа тундрового Совета. Если что будет трудно, пришлите письмо, поможем. Васька Харьяг тунсоветом оштрафован на 500 рублей, и на днях я приеду получить с него штраф. Подготовьте заявление Терентия Вылко в суд на Ваську Харьяга. У меня есть на примете восемь батраков, которые получат по суду от хозяев в общей сложности 1500 оленей. Вот тогда-то мы и организуем колхоз. А пока собирайте детей.

Крепко жму руку, Тоня Ковылева.

Секретарь тунсовета
М. Якимов».

Тоне понравились деловитость и простота письма и умилила большая круглая печать в конце записки: «Юшарский кочевой самоедский Совет Большеземельного района».

— Даже печать поставил,— смеется Тоня и смотрит в оконце на Хойко.

— Заходи, северный рыцарь,— говорит она.

Хойко входит, на ходу стягивая малицу.

— Кто такой Миша Якимов? — спрашивает она, близоруко всматриваясь в Хойко.

— Миша? Хороший мужик,— говорит Хойко,— он меня грамоте научил. Я для него все могу сделать,— и, помолчав, добавляет: — И для тебя тоже... Все, что хочешь!..— Потом, нахмурившись, он говорит: — В городе, говорят, хлеба мало. Ехал в кооператив обоз, и его разграбили разбойники. Правда это?

Тоня задумывается.

— Чепуха. Кулачье, наверное, слухи распускает.

— Ну, если так, то ладно,— успокоился Хойко.— Слышишь, нарты скрипят? Наверно, Миша приехал.

Действительно, через несколько минут в палатку вошел человек в белом совике. Это был паренек среднего роста, с маленькими черными бровями на простецком сухощавом лице.

— Здравствуйте, Тоня,— сказал он, удивленно рассматривая девушку.

— Здравствуйте, секретарь тундрового Совета! — засмеялась Тоня и помогла гостю снять совик.— А я думала...

Она смутилась, и легкий румянец тронул ее щеки.

— Понимаешь, какие они сволочи, Хойко,— неожиданно возмутился он,— им говоришь — плати страховые за батраков — не платят! Дай упряжки для геологической экспедиции — не дают!

— Да кто? — спросила Тоня.

— Кулачье и шаманы.

— Они — худой народ,— сказал Хойко.— Они — эксплуататоры.

— Что? — засмеялась Тоня.— Откуда ты такое слово узнал?

— Я три дня его учил,— сказал Хойко,— оно мне так понравилось, что я его знаю теперь наизусть.

— Он у меня молодец,— улыбнулся Миша Якимов,— только не надо говорить по-иностранному, Хойко, а то зазнаешься.

— Мне нравятся непонятные слова,— сказал Хойко.

Он весело посмотрел на друзей и, подмигнув, прошептал:

— Васька Харьяг уже здесь, однако. Позвать?

— Позови,— нахмурился секретарь тунсовета,— позови этого эксплуататора,— мрачно пошутил он.

Хойко вышел. Миша Якимов сел на единственный табурет, и лампа-молния осветила его усталое лицо.

Через минуту в оконце постучали, и вошел Васька Харьяг. На лице его появилась поспешная улыбка. В руках шамана чернел кожаный мешок.

— Здравствуй, власть,— сказал он, обращаясь к Якимову,— штраф приехал платить, чтоб ты не сердился.

И он высыпал из мешка полкилограмма кредитных билетов. Измятые, позеленевшие червонцы, пятерки, рубли рассыпались у ног секретаря тунсовета.

— Бери. У меня денег хватит.

Миша Якимов внимательно посмотрел на шамана, и взгляд его стал суровым.

— Нет уж. Плати сам.

— Да я неграмотный, не знаю, какие сколько стоят.

Секретарь тунсовета посмотрел на Тоню и попросил дать ему газету. Переложив на нее деньги, он сказал:

— Ну, гляди. Я при тебе отсчитываю. Вот это пятерка. Это десять рублей, это три рубля.

— Сам знаю,— хмуро ответил Васька Харьяг.

Получив нужную сумму, Миша Якимов написал расписку.

— Утром русскую хабеню повезешь по пармам, понял?

— Как не понять, однако? Понял. Повезу. Я власти не враг,— сказал шаман и торопливо вышел из палатки.

— Ну, мне надо ехать. До свиданья, Тоня Ковылева. Держись, девушка. Помни, кроме друзей, есть и враги. Они следят за каждым твоим шагом. Оружие у тебя есть? Ну и хорошо. Это на крайний случай...

Голос Якимова звучал участливо и грустно. Казалось, он сочувствует Тоне, точно зная, что ее ожидают лишь огорчения и обиды.

— Мне сегодня сто километров еще ехать. Избили комсомолку за то, что она читала пастухам газеты. У Коротаихи строится школа, проверю — все ли в порядке. Ну, дай твою лапу и не вешай нос, если что. Понимаешь?

— Понимаю,— сказала Тоня дрогнувшим голосом.

Только сейчас она почувствовала все значение своей работы, и ей стало грустно от сознания того, что она еще слаба и что ее бодрость была наигранной и выдуманной.

Утром она выехала в стойбище. Школа пока еще строилась, но Тоня должна была уже начать обучение детей из всех соседних парм.

Упряжку вел Васька Харьяг. Он был предупредителен и вежлив.

— Тяжело тебе будет, девушка. Наш народ к спирту привык сильно, однако. Грамоте он не учен и учиться не хочет. Ленивый народ. Ехала бы ты лучше обратно в Москву. До тебя вот была же учительница. Пожила месяц — уехала.

— Плохая учительница была,— сказала Тоня,— я не из таких...

— Весной здесь русским худо же, однако. Болесь берет. Десны распухнут, зубы выпадают. Ноги корчит. Руки сводит. Отчего бы это? А?

— Цинга,— сказала Тоня,— меня этим не испугаешь. Буду сырую оленину есть, и цинга не возьмет.

— Откуда ты знаешь это, однако?

— Мы все знаем,— сказала Тоня сурово.— Хочешь, я скажу, что ты про меня думаешь?

— Я, я ничего не думаю,— торопливо ответил Васька Харьяг,— мне жалко тебя, девка.

— Это бывает,— засмеялась Тоня,— только знаешь? Мы не поедем в твою парму. Там ребятишек уже нет, их увезли в другие пармы, чтоб не показывать мне на глаза...

Искорка испуга и ненависти вспыхнула в черных глазах шамана. Он резко повернул упряжку на запад.

— Ты хочешь ехать к Коротаихе?

— Правда-правда.

Тоня засмеялась:

— Зачем же едешь туда? Ты же знаешь, что все детишки отосланы к реке Сюррембой-Яга.

Ясовей уже не мог сдержать бешенства. Он потянул вожжу, и упряжка остановилась.

— Вези сама,— сказал он,— вам, русским, ничто не нравится. Вам — все худо. Испокон веку вы обманывали и обижали нас.

— Ах, вон оно что? — насмешливо свистнула Тоня.— Ты стал откровенным, Васька Харьяг.

Она слезла с нарт. Ноги ее в валенках онемели от холода. Ей хотелось плакать, но она мужественно улыбалась. Она чувствовала, что сейчас решается для нее будущее, и знала, что маленький намек на свое бессилие будет ее гибелью здесь, наедине с хитрым врагом.

...Тоня отдернула рукав пиджака и показала компас.

Черная стрелка, покачавшись, показала на грудь Васьки Харьяга, белая — на юг, там, где находилась Москва.

— Что же,— неокрепшим девическим голосом спросила Тоня Ковылева,— передать твои слова в Москву?

Рука Васьки Харьяга инстинктивно потянулась к ножу.

— Даже если меня кто-то убьет, эти маленькие часы сразу же расскажут коммунистам в Москве все, что со мной произошло. Я буду мертвой, но убийца не скроется. Милиция узнает его сразу же в лицо,— побледнев, проговорила девушка, стараясь не замечать ножа Васьки Харьяга.

— Поедем, хабеня,— упавшим голосом сказал шаман.— Русские — народ хороший, только далеко до пармы-то. Не доехать за ночь.

И, еще раз подозрительно взглянув на компас, он сел на нарты.

Всю ночь мчались олени. Тоня уже не чувствовала своих ног, так они онемели. Наконец Васька Харьяг остановил упряжку и сказал:

— Погода будет. В куропачьем чуме ночевать придется. Оставайся пока, а я дорогу искать буду, заплутались мы, верно...

Тоня свалилась с нарт. Не успела она подняться, как упряжка скрылась в белесом снежном тумане за сопкой...

Слезы бессилия и обиды ожгли ее щеки, и вдруг с потрясающей силой она увидела свое положение. Ее бросили... здесь... в сердце тундры... без куска хлеба... Мимо ее окоченевшего трупа побегут стаи песцов и лисиц.

Придет весна. Веселая тундровая вода покатится через останки тела веснушчатой девчонки Тони Ковылевой, и не увидеть ей летящих с юга лебедей...

— Мама! Мамка! — кричит она, с ужасом погружаясь руками в снег.

«Как спать хочется»,— врывается в сознание настойчивая, обманчивая мысль. Нет, она совсем не замерзла. Ей хорошо. Это жаркий день в Сокольниках или в Рязани у родных. И Арктика ей только приснилась...

Девушка закрывает глаза и улыбается. Острая поземка заметает ее тело, но где-то, в глубине сознания, светится маленькой звездочкой Нгер Нумгы недремлющая мысль. Она вспыхивает неожиданно и больно: «Вблизи лают собаки...»

Девушка открывает глаза.

— Я замерзаю,— шепчет она помертвевшими губами.— Мне нельзя замерзать,— тяжело повторяет она.

Но требуются часы усилий, прежде чем начинают действовать руки.

«Ноги отморожены,— уже спокойно рассуждает она.— Их надо оттереть снегом».

Нечеловеческих усилий стоит стянуть валенки.

«Если поползу, ноги отойдут»,— думает она и, перевернувшись на грудь, утопая лицом в снегу, точно в воде, ползет по заметаемому следу.

«Теперь — обратно».

С каждой минутой сердцем ее овладевает все большая надежда. Рукам, лицу и щиколоткам больно. Вот и в пятках тоненькими иголочками колет теплая возрожденная кровь...

...Через пять часов Тоня Ковылева пришла в стойбище у Сюррембой-Яга. Нарты Васьки Харьяга стояли тут же, а сам он на чьих-то уехал дальше, забрав половину детей.

Тоня вошла в крайний чум и поздоровалась.

Женщины ответили ей молчанием.

— Где мужчины? — спросила девушка по-ненецки.

Вновь молчание.

— Вы можете молчать сколько хотите, но дайте мне чаю.

Одна из четырех женщин принесла и повесила котелок над огнем.

Девушка сняла малицу и валенки. Лицо ее было белее снега. Пальцы отмерзли.

— Мне жаль вас,— сказала она на ломаном ненецком языке,— вас всю жизнь обманывал Васька Харьяг. Он бил ваших мужей, призывал на ваши головы злых духов, за водку скупал у вас пушнину. Далеко отсюда есть город Москва. Там узнали о Ваське Харьяге и послали меня сюда. Мне сказали в Москве — езжай в тундру. Приедешь в парму у Сюррембой-Яга и спроси женщин, хотят ли они знать правду о Ваське Харьяге. Если они хотят знать эту правду, ты расскажи им.

Женщины с жалостью смотрели на омертвевшее лицо девушки.

— Не подходи к огню,— сказала та, что вешала чайник.

И, выбежав из чума, вернулась со снегом. Сильными, ловкими руками она стала оттирать ноги Тони Ковылевой. Двое других женщин смазали пальцы ног гусиным жиром, предварительно опустив их в леденящую воду.

— Что он сделал? — с негодованием сказала первая из них.— Зверь...

Не попив чаю, Тоня уснула, заботливо укутанная в оленьи шкуры.

Проснулась она ночью следующего дня от прикосновения чьей-то руки.

— Вставай-ка,— доброжелательно предложил мужчина,— садись. Чаю попей.

Боль в ногах утихла, но лицо горело. Тоня приподнялась на локте. Женщина поставила к низенькому столику лукошко и, когда девушка заплела косы, подала ей чайник. Помыв лицо и руки, Тоня, шатаясь, подошла к столу, села на лукошко. Руки ее дрожали.

Молча она попила чаю. Терпеливо подождала, когда попьют остальные, и лишь тогда вышла из-за стола.

— Скажи нам, девушка, что ты знаешь и чего мы не знаем? — заговорил мужчина.

Широкое пламя костра осветило его щеки в глубоких рубцах.

— У меня есть сын. Звать его Пайга. Ходит молва — будут всех грамоте учить, потом в армию пошлют. Правда ли это?

— Скажи, что еще говорит молва?

— Она говорит многое,— уклончиво ответил мужчина.— Она говорит о том, что моего сына в армии убьют. Правда ли это?

— Неправда,— сказала Тоня.— Это тебе сказал Васька Харьяг потому, что твой сын Пайга станет грамотным

и узнает всю правду о Ваське Харьяге, а шаману это невыгодно.

— Так, так! — торопливо согласился мужчина.— Я подумаю об этом, хабеня.

И он лег спать.

«Если так будут думать все, то мне нечего делать»,— нахмурилась Тоня и вышла из чума.

Кто-то сзади тронул ее за рукав.

— В гости, девушка, зайдешь ли? — спросил ласковый женский голос.

— Хорошо,— сказала Тоня,— а к кому?

И она пошла вслед за женщиной.

В низеньком чуме она рассмотрела ее старое морщинистое лицо, тяжелые длинные руки с искривленными пальцами.

— Пей-ко чай. Устала, верно?

Тоня кивнула головой. На шкурах спал двенадцатилетний мальчик.

— У меня был муж,— сказала женщина,— он работал у Васьки Харьяга и там заболел. У нас ничего не осталось, и я теперь хожу на охоту, чтобы не протянуть ноги к очагу — умереть, по-вашему. Васька Харьяг ничего не дал за то, что мы у него работали десять лет. Миша Якимов теперь его будет судить, и я получу оленей.

Женщина задумалась. Невеселая морщинка легла в уголках ее рта.

— Возьми моего сына в Красный чум. Пусть он выучится на Мишу Якимова или на тебя. Пусть он расплатится за отца с Васькой Харьягом. Завтра я сама поеду с тобой, и мы вернем детей. Ты мне веришь?

— Да,— тихо ответила девушка,— я верю. Твой сын будет счастлив.

— Я сильно кашляю,— сказала женщина,— у меня грудная болезнь. Когда я умру, мой Тагана никому не будет нужен. Если он станет грамотным, ты не бросишь его?

— Нет.

— Сюда ехал обоз с хлебом для кооператива «Кочевник». Обоз обокрал кто-то, а в городе хлеба мало. Город молодой и хлеба не хватает.

— Не верь этому,— сказала Тоня, и тонкое лезвие страха тронуло ее душу.

— Я об этом не буду пока думать. Я верю вам, приехавшим из Москвы. Завтра мы поедем.

И вновь скрипят нарты о звонкий ноябрьский наст. От стойбища к стойбищу, от сопки к сопке.

Но быстрее нарт летит молва:

«Русская учительница собирает детей в школу, чтобы из них сделать солдат, а потом убить на войне. Не верьте русским. Они будут бить детей, морить их голодом, учить злобе против родителей».

И летела другая молва:

«Из далекого города Москвы приехала русская учительница Тоня. Она любит ненцев. Она им рассказывает правду о Ваське Харьяге. И тот ее хотел убить. У русской теперь отморожены ноги и лицо, но она ездит по тундрам и учит ненцев правде. Отдавайте ребят в школу. Не верьте Ваське Харьягу. Не прячьте детей от русской девушки, потому что она им хочет только хорошего».

Но почему-то люди верили больше первой молве.

Тоня Ковылева видела многолюдные стойбища, но в них не было детей. Дети были спрятаны. Они перевозились из пармы в парму только для того, чтобы их не увидела русская учительница.

В одном из стойбищ она заметила спящего ребенка.

— Чей это? — спросила она у побледневшей при этом вопросе женщины.

— Это... это не мой... Не знаю чей,— сказала женщина.

Тоня с горечью посмотрела на нее.

— Я знаю — это твой ребенок. Я же хочу вам только хорошего.

Женщина с криком выскочила из чума. Тоня слышала, как ее обступают другие женщины и кричат:

— Приехала хозяйка наших детей, забирает, как своих!

Тоня вышла посмотреть, что там. Она увидела разъяренные лица женщин.

— Ездишь все равно, что безглазая — не уходишь от наших чумов!

— Да,— сказала Тоня,— я не уеду, пока не добьюсь своего. Я не из таких...

И она осталась жить в парме. Долгими сутками она рассказывала пастухам, охотникам, женщинам о Москве, о науке, о Советской власти, о колхозах.

С каждым днем все спокойнее и проще становились ее отношения с окружающими, а молва, как озеро от большой реки, питалась ее речами. Молва несла ее простые и задушевные слова в самые далекие стойбища. Ее встречала другая молва, злобная и слепая. Происходила борьба, но с каждым днем слово правды из уст русской хабени про-

сачивалось все настойчивее и настойчивее в сознание угрюмых, суровых и недоверчивых охотников, рыбаков и оленеводов.

Тоня уже предчувствовала победу. Но поднялся неутомимый хад. Он готов был опрокинуть чумы. Жалобно поскрипывая, звенели, как натянутые струны, чумовые шесты. Северный ветер надул у входа «лебедей» — так назывались снежные сугробики. Вышел хворост, и потух огонь. Стиснув челюсти, думала Тоня о жизни.

Нет, ей не быть победителем. «Пошлите меня туда, где больше трудностей»,— вспомнились ее же слова из письма в «Комсомольскую правду».

«Плитка шоколаду,— вспомнила неожиданно Тоня,— плитка шоколаду».

На самом деле, что она будет завтра есть? У нее осталась только плитка шоколаду и ни копейки денег. Она зарвалась. Она слишком далеко уехала от Красного чума.

Ноги в холодных валенках болели. Стараясь забыться, Тоня уснула. Сквозь сон она услышала приезд в парму человека-молвы.

Утром хад стих. Седые космы его еще волочились по снегу и устало опустились на дно долин, чтоб вновь подняться через несколько суток.

Пришел хозяин чума, бывший до этого на охоте, и сказал:

— Уезжай, мы тебя кормить не будем, здесь не столовая. Надо хлеб с собой возить, а не просить у меня, как нищенка.

Тоня смутилась. Ей стало стыдно за себя. Казалось, ее обнажили сейчас перед всем светом и начали издеваться больно и непоправимо. Однако у нее хватило мужества ответить:

— Хозяин забыл о гостеприимстве? Что ж, пусть о нем плохо думают родители, похороненные на священной сопке.

Мужчина опустил взгляд и вышел из чума. Он запряг нарты и дал Тоне Ковылевой большой мешок, полный хлеба и мяса.

— На,— сказал он,— не обижайся. Мне так велели сделать.

— Не надо,— сказала девушка,— русские и на каторге бывали, чтобы принести счастье своему народу. Если нужно будет, я поголодаю, но твой сын научится читать. Ты сам его привезешь.

И она вместе с женщиной — матерью Тагана — поеха-

ла к Красному чуму. Всю дорогу она плакала, вспоминая Москву, мать, Костю, уютную конторку фабрики и листочки с фиолетовыми штемпелями: «драп», «бостон», «шевиот», которые она записывала в книге готовой продукции, когда работала учетчицей до отъезда в тундру.

— Не надо,— тихо утешала ее женщина,— всем трудно.

«Уеду. Обязательно уеду»,— решила Тоня, въезжая в свое стойбище, посредине которого стояла палатка с красным флажком наверху.

— Здравствуй, Хойко,— невесело поздоровалась она,— я заболела. Не приходи ко мне.

Затопив «времянку», она села за письма. Косте и матери она написала все, что пережила и поняла. Заклеив письма, она посмотрела на тумбочку.

Ильич посмотрел на нее мягким укоряющим взглядом, и Тоня заплакала. Она легла на койку и уснула. Стук в оконце разбудил ее.

В палатку вошли две женщины и мужчина, подталкивая впереди себя испуганных детишек.

— Учи их, хабеня,— сказала одна из женщин, та, что вела ее нарты.— Мы будем жить здесь тоже, и когда узнаем, что Мюс, Тагана и Пайга понравится школа, к тебе приедут все, кто боится знать грамоту.

Вскрикнув от радости, она бросилась к детишкам и начала целовать их чумазые испуганные лица. Родители, польщенные этим, тепло улыбались русской учителке.

С тумбочки на всех этих людей глядел Ильич. Он улыбался.

— Ленин,— указывая на портрет, сказал мужчина,— Ленин. Теперь я все понимаю.

Над миром полярная ночь

В Месяц Большой Темноты подули от моря острые леденящие ветры. И без того короткий день померк.

Однако Тоня Ковылева не замечала этого. Дни и ночи она готовилась к первому уроку. Ей казалось, что от этого решается ее судьба. Она исписала две тетрадки, составляя конспект первой беседы, но чем ближе подходил день занятий, тем сильнее хотелось отложить его на более поздний срок.

Хойко по-хозяйственному разрешил эти сомнения. Он объявил, что первый урок проводить надо так: раздать буквари, и все...

И вот в натопленной палатке сидят дети. Они задыхаются от непривычной жары и тесноты. Палатка переполнена до отказа. Важно расселись седые старики. Они нюхают табак, чихают и ругаются от восхищения. Женщины заняты шитьем.

Тоня вынимает тетрадки и начинает беседу. Она торопится рассказать все, что узнала за свою жизнь.

— Вот беда-беда! — говорит Явтысый.— Все так. Маленькая, а все знает...

Тоня смущенно и неожиданно обрывает свою беседу.

— Вот вам, ребята, буквари. В них все написано.

Взрослые с завистью смотрят на новенькие книги, еще пахнущие типографской краской. Они сдержанно радуются восхищению в лицах детей.

— Гляди-ко, парень. Про нас книга-то! — удивляется Явтысый, показывая Тагана чумы, оленье стадо и нарты на первых страницах учебника.

— Вот лешак, и «мо» нарисован — сучок, и «хо» — береза, и «нохо» — песец. Ишь ты!

Старики одобрительно кивают побелевшими головами.

— Прочти-ко, девушка, что тут написано,— говорит один из них, открывая на середине букварь.

Тоня берет книгу, и наполненный большим счастьем ее голос звенит, как песня:

— Та' ямбан Хылей мякананда илесь.

Нисяда тэхэ' на мэсь... В течение лета Хылей в чуме своем жил,— читала Тоня,— отец его в оленях был. Хылей лишь с бабушкой в своем чуме остался. Однажды Хылей захворал. Бабушка Хылея шамана позвала. Шаман пришел, шаманить стал. До полуночи он шаманил. Наутро Хылей еще сильнее захворал. Отец Хылея приехал, так сказал:

«Шаман людей обманывает. К шаману идти не надо. Шаманы людей лечить не могут. В больницу идти надо. Болеющего человека доктор вылечивает». Отец Хылея хворающего своего сына к докторам повез. Хылей скоро поправился. Такой плакат сделаем: «Все хворающие к доктору пусть идут».

Тихий плач смял последние слова Тони Ковылевой. Она удивленно посмотрела на слепую женщину, что сидела у выхода из палатки.

— Правда написана, только имена тут другие,— сказал Явтысый,— это про нее. Только она не повезла больного сына к доктору, как я ей говорил. Васька Харьяг пошаманил, а Иванко умер.

— Вот видите...— начала Тоня.

— Подожди, девушка,— поднялся сгорбившийся старик с трясущимися руками,— хабеня это сама выдумала сейчас?

И враз потеплевшие лица мужчин и женщин тронула отчужденность.

Но Хойко насмешливо свистнул и, взяв букварь, прочел то же самое.

— Правда,— сказал горбатый старик,— теперь так.

И вышел из палатки впереди мужчин.

Последними покинули ее дети, бережно прижимая к груди буквари.

Никогда Тоне Ковылевой жизнь не казалась такой интересной, как в эти наполненные тревогой и радостями дни!

Дети сидели на полу, поджав под себя ноги, и на коленях их лежали буквари.

— Сначала мы будем читать вслух. Повторяйте за мной: «хо-мо».

И все нараспев, нерешительно повторили: «хо-мо».

Только курносый Тагана неожиданно сказал по-русски:

— Сук березы.

И все засмеялись.

Тоня тоже улыбнулась.

— Правильно. По-русски это означает сук березы.

Шли дни за днями. Страницу за страницей познавали ее ученики, полюбив учительницу трогательной детской любовью. Вечером они слушали радио и русские сказки. Тайком, чтоб никто не заметил их привязанности, они приносили Тоне подарки: мороженую нельму и свежее мясо.

Но неожиданная тревога омрачила радость Тони Ковылевой.

Веселый Мюс, шалун и забияка, один из самых смышленых учеников, был неожиданно увезен отцом.

Отец, гордый успехами своего сына, поехал с ним по стойбищам, и Мюс, как подобает взрослым, сдержанно и неторопливо читал слушателям шестнадцатую страницу букваря:

К озеру поеду.
Нарты найти мне надо.
Шкуры песца собрать надо.
Хора шкуры собрать надо.
Лончака шкуры собрать надо.
Шкуры увезти надо.
К озеру поеду.

— Это — научная книга,— хмурясь, говорил Семка, отец Мюса.— Эту книгу никто, кроме русской хабени, читать не умеет, а Мюс умеет.

Слушатели цокали от восхищения языками, завидовали Семке и сами посылали детей учиться к русской хабене.

Объехав стойбища, Семка сказал сыну, улыбаясь:

— В книге написано, что тебе много надо. Шкуры песца собрать надо. И к озеру ехать надо. Подумай-ко теперь, парень, что тебе в школу тоже надо. В Красный чум ехать надо. И хорошо учиться надо.

И, уверенный в великом будущем своего сына, он отвез его к Тоне.

А ночь вступила в свои права. Едва заметная светлая каемка на юге пропала, но звезды в ночи по-прежнему были бледны. И только Нгер Нумгы гордо стояла почти над палаткой Тони Ковылевой, яркая и холодная. Лишь иногда ее затмевали сполохи северного сияния. Долгими часами Тоня наблюдала за тем, как они рождались и умирали.

Нежно-сиреневый круг поднимался от океана и, пламенея с каждой минутой, переливаясь радугой, мерно качался над горизонтом. Он доходил до зенита, до Нгер Нумгы, и, став рубиновым или пунцовым, медленно таял, умирая.

Но проходило полчаса, и над океаном бесшумно взрывались два огненных гейзера, их сменяла арка, палево-золотистый конус — бархатный занавес, за которым находилось царство вечной темноты.

В такие минуты Тоне казалось, что она чувствует дыхание вечности, и мир ей становился до боли мил и чудесен.

— Хорошо,— шептала она и засыпала крепким счастливым сном.

В одну из подобных ночей пришел к ней Хойко.

Он долго слушал патефон, а потом сурово нахмурился и сказал с важностью:

— Я поеду в Красный город, хабеня. Я решил стать учителем. И лучше не отговаривай меня.

Тоня засмеялась. Ее умилила его торжественность.

Хойко обиделся.

— Тебе смешно? У тебя нет мужа, и ты знаешь все на свете, а я не могу жить рядом с тобой. Когда я выучусь, ты будешь не так говорить со мной.

Тоня подошла к юноше и, как тогда, при первой поездке по пармам, крепко обняла его за шею.

Юноша вывернулся из рук девушки. Голос его дрожал от смущения.

— Не надо целовать... Я... тогда... не смогу уехать...

Но минуту спустя он смилостивился.

— Поцелуй. Только раз... и в щеку... чтоб и потом вспоминал о тебе... Ладно?

Тоня с серьезностью выполнила его просьбу. Она подарила ему несколько книг и стопочку тетрадей. Провожая его из палатки, она на прощание вручила несколько писем. Про толстое письмо в синем пакете сказала:

— Здесь написано о кулаках и ограбленном обозе. Отдай его председателю окрисполкома под расписку. Скоро в тундре не будет хлеба. А ведь ты не хочешь, чтоб мы умерли с голоду.

— Не хочу,— сказал Хойко,— я не эксплуататор.

И, пожав крепко Тоне руку, он твердой походкой вышел из чума.

«Хороший парень»,— с нежностью подумала девушка. И непонятно отчего вздохнула.

Всю последнюю неделю не стихали острые морские ветры.

Тоня сидела у печки-каленки и с тревогой смотрела в желтое целлулоидное окошечко:

«Неужели не придут?»

Маленький черноглазый Тагана, болеющий чахоткой, круглый и веселый Пайга, подвижной, как волчок, Мюс, угрюмый Сармик — ее ученики — вчера сказали ей, что учиться дальше не смогут, потому что родители уезжают в Усть-Цильму и Архангельск за хлебом и некому пасти стада. У маленького Тагана сильно заболела мать, и она попросила прислать ей шамана, чтоб тот за последних пять оленей спас ее от смерти. А спасти ее мог только хлеб...

Тундра голодала.

«Не придут»,— думала Тоня и растирала ладонью виски. У нее все чаще и чаще начинала болеть голова.

В палатку вошел Егор Явтысый.

— К матери Тагана смерть приехала.

— Пойдем к Тагана.

Они пошли между чумов.

В крайнем чуме, у костра, раскинув руки, бредила седая женщина. От болезни лицо ее почернело. Прерывисто дыша, она тихо звала сына:

— Та-га-на... Та-га-на...

Сынишка, сухими глазами уставясь в огонь, левой рукой гладил лоб матери. Он очень хотел есть, но у них вы-

шло все мясо. Они съели даже то, что позавчера дал из своего маленького запаса старый Егор.

— Неужели из города не привезут хлеба и пороха? — тревожно спросил Явтысый.— Если бы порох, я смог прокормить бы всех детей и стариков один. Хлеба ни у кого нет. Молва ходит по тундрам, что в городе тоже голод.

— Неправда,— сказала Тоня,— этого не может быть. И хлеб и порох есть в городе, и твой сын сегодня все это привезет.

«Зачем я их обнадеживаю?» — неожиданно подумала она и быстро вышла из чума. Из серенького чемодана, что лежал в палатке, она достала последний кусок черствого белого хлеба. Хлебная крошка присохла к переплету коричневой книги.

— Горький,— прошептала она и, крепко прижимая хлеб к груди, вышла из палатки.

Голодными глазами дети смотрели на белую булку. Она отломила по маленькому кусочку, дала им и, чтоб не разреветься, побежала к матери Тагана.

Там она размочила хлеб в густом чае и, ложечкой разжав стиснутый рот, накормила женщину.

— Все олени поедены. Капканы стоят далеко. Парни ослабли, товарищ Тоня.

— Помолчите,— умоляюще попросила девушка,— ваш сын сегодня все привезет. Ложись спать, Тагана, я посижу с твоей мамой.

Мальчик отполз от матери и лег на шкуры, сурово сжав губы.

Тоня подбрасывала сучья в костер, и, когда ярко вспыхивало пламя, она с долгой нежностью и сочувствием наблюдала за сводимым судорогами лицом женщины.

Как мечтала эта женщина увидеть сына большим! Месяц тому назад, когда был зарезан последний олень и впереди маячила смерть, она сшила ему длинную малицу, точно на большого охотника. Она расшила ее тоненькими лоскуточками разноцветных сукон, и, когда он надел ее, эту новую малицу, она потрескавшимися сухими губами шептала:

— Вот каким ты будешь, Тагана, когда над твоей головой пройдет три больших ночи.

«Что делать?» — в смятении думала Тоня.

— Когда кончится эта ночь? — прошептала она с тоской.

Женщина тихо застонала и открыла невидящие глаза.

Она приподняла голову, точно к чему-то прислушивалась, и вновь упала на подушки.

— Та-га-на... Та-га-на...

Тоня вышла из чума и потерла жестким снегом виски. В морозной тишине ей померещился скрип саней. Она прислушалась. Нет, действительно где-то ехал человек. Явтысый вышел из чума и всматривался в темный горизонт.

— Это сосед едет.

Через полчаса к чумам подъехал низкорослый охотник. Он круто повернул упряжку, и Тоня бросилась к нартам. Они были пусты.

— Мне газету дали только... В городе нет хлеба,— сказал юноша.

У Тони от приступа голодной тошноты закружилась голова. Губы ее задрожали, и она упала в снег рядом с нартами, и какими-то далекими и смутными дошли до ее сознания слова юноши:

— Встретил тадибея, шаманить будет у нас.

Явтысый наклонился над девушкой. Он осторожно поднял ее и увел в палатку. Она зажгла лампу и в полузабытьи лежала до тех пор, пока не вошел Явтысый с газетами в руках.

— Почитай, девушка, зачем хлеба в тундре мало. Война не началась ли?

Тоня подняла воспаленные веки и долго всматривалась в расплывающиеся буквы... Голова болела.

Она просмотрела передовую, и гнев и горечь заполнили ее. В передовице писалось, что руководители окрвнуторга, бывшие троцкисты, мало забросили хлеба в тундру.

— Стрелять их, сволочей, надо! — в исступлении закричала Тоня.— Всех, до одного!

Глухая дробь барабана неожиданно врывается в ее палатку. Она, спотыкаясь и падая, бежит к крайнему чуму. Она отводит полотнище, протискивается среди испуганных охотников и женщин и застывает в страхе.

Вокруг больной, неподвижно лежащей на волчьих шкурах, мечется Васька Харьяг, ударяя колотушкой в пензер.

Оловянные, медные, никелевые пластинки на его одежде звенят глухо и сдержанно. Уши высокой шапки из меха росомахи бьют по его широкоскулому лицу. Узкие глаза полузакрыты, и пламя костра золотыми точками отражается на зрачках. Он поворачивается лицом к больной, плюет через костер и неестественно тихим, отрывистым речитативом шепчет заклинания. Уже пена появилась на краешках его губ. Уже женщины испуганно заскулили, про-

тягивая к больной черные, зловещие, худые руки, когда шаман приник к лицу больной и пензером провел по ее воспаленным губам.

Глаза его, налившиеся кровью исступления, выпуклы и жутки. В тишине он изрекает гневно и кратко:

— Забыли Нума? Забыли духов? Детей отдаете русской девке, которая шаманит у черного ящика и вызывает своих духов? Голод и смерть — вот что вам пошлет Великий Нум за это. Пусть об этом ветер разнесет молву по всем великим тундрам. Нум отказывается простить эту женщину... Выйдите все из чума.

Тадибей опустился на доски у костра и закрыл глаза руками. Мужчины и женщины покинули чум, но тадибей не открывал глаз. Он открыл их спустя полчаса и увидел сидящую напротив русскую учительницу. Она насмешливо наблюдала за ним.

— Скажите, вы много выпили сегодня?

Шаман испуганно отодвинулся.

— Только сярку, хабеня.

— Вам правду духи ваши говорили?

— Правду, правду,— быстро проговорил Васька Харьяг, и рука его потянулась к кованому ножу на ремне,— а может, и врут, кто их знает.

Девушка быстро поднялась. Брови ее сдвинулись и взгляд стал острым:

— А ну-ка, нож! Нож давай, говорю.

Тадибей поднялся и зловеще усмехнулся. Он шагнул к девушке и сразу стих.

Тоня неторопливо вытащила браунинг и спустила предохранитель.

— Успокоился? А ну гони нож. Да ручкой подавай, а не острием.

Старик подал нож и вновь сел у костра.

— На днях сюда приедут мои товарищи, и я расскажу всем пастухам и охотникам о твоей трусости и бессилии. Какой же ты шаман, когда с девкой ничего не мог сделать?

Тадибей злобно оглянулся, и рука его потянулась к топору, что лежал у костра.

— Оставь топор,— сказала Тоня.

— Я уеду отсюда,— сказал тадибей,— отдай мне нож, он священный.

— Теперь он уже поганый,— ответила Тоня,— он был в руках девки, да еще русской.

— Мы вас передушим,— злобно шипит старик,— мы

всех вас передушим, мы не хотим грамоты. Мы жили и без грамоты хорошо и были богаты.

— Не спорю. Но ведь ты шаман?

— Я добрый шаман.

— Я это вижу.

— Мы обходились без Красных чумов и колхозов.

— Прошли те времена.

— Они снова придут. Кончится ночь, и мы вас всех перебьем.

— Кто — вы?

— Самые почетные люди тундры. Самые главные князья Малой и Большой земли.

Тоня посмотрела в темноту и насмешливо спросила:

— Ты слышишь, Явтысый?

— Я все слышал,— ответил Явтысый, отодвигая занавеску и подходя к костру.

Тоня подбросила хворосту в огонь и внимательно всмотрелась в шамана. Глубокий шрам перерезал лицо человека.

— Кто это так вас отметил?

— Я,— сказал Явтысый.— Тогда я батрачил у Васьки Харьяга и хотел вступить в колхоз. Васька Харьяг пробил мне голову хореем, а я испробовал свой нож.

— Да, добрый шаман, добрый...

Тоня помолчала, взяла топор и, положив его за занавеску, сухо сказала:

— Через полчаса ты должен быть за десятой сопкой отсюда, а за болтовню рассчитаемся в свое время.

Тадибей взял свой бубен, снял священную одежду и вышел из чума в сопровождении Явтысого. Через несколько минут Тоня услышала свист и удаляющуюся упряжку.

Явтысый вернулся, сел у костра, закрыв неблюйной шкуркой лицо умершей.

Тоня сидела, опустив руки, и по лицу ее бежали слезы, скатываясь к губам. Она слизывала их.

Мать была далеко, и Москва далеко, но теперь ей, как никогда, хотелось жить...

Тропой колхоза „Нгэр Нумгы"

Окутанная снежным вихрем, мчится упряжка от стойбища к стойбищу.

Человек-молва вскакивает с нарт у чума, вползает в него и хрипит:

— Гибель нам! Всех погонят в колхозы! Гоните стада за Урал, в горы Пай-Хоя.

Выскочив из чума, человек, задыхаясь, мчится к следующему стойбищу...

А тем временем милиция тщетно пытается поймать человека-молву, брата Васьки Харьяга.

Начальник милиции сопровождает хлебный обоз в голодное стойбище и думает о неизвестной ему девушке — Тоне Ковылевой, написавшей гневное письмо председателю окрисполкома. Начальник милиции ежится от мороза. Ему хочется спать, но он знает, что этого делать нельзя. Пока еще олени могут бежать, он обязан не спать.

— Охэй! — кричит он, и голова его кружится от усталости.

Сквозь целлулоидное оконце палатки по-прежнему блестел далекий и мертвый звездный мир. Тоня привыкла к нему за эти печальные дни. И это небо за палаткой, угрюмое и неизменное, даже утешало ее своей обычностью.

К палатке кто-то нерешительно подошел.

— Войдите,— сказала Тоня и спрятала руки под одеяло.

Вошла маленькая курносая женщина с вязанкой дров. Она заботливо улыбнулась девушке и затопила «времянку». Целлулоидное оконце сразу запотело, и у Тони как-то веселее стало на душе.

— Болит? — спросила участливо женщина.

— У меня сегодня праздник,— почему-то ответила Тоня.— Новый год наступает, пусть приходят все ко мне в гости.

Женщина торопливо вышла. Тоня откинула одеяло и стала посреди палатки у клокочущей печки. Руки ее моментально покрылись гусиной кожей. Она открыла желтый фибровый чемодан, пахнущий сыростью и свежестью малоношеных вещей, и достала сиреневое платье. С нежностью расправив складки, она надела его. Натянула на ноги липты — меховые чулки — и пимы. Посмотрев на запорошенные чумы, она вытащила из-под кровати радиоприемник, последнюю сухую батарею, имевшуюся у нее, и включила накал.

Катодная лампа засветилась чудесно-золотым светом, репродуктор прокашлялся и захрипел. Тоня повернула лимб вариометра, и тихий свист ветра и больших пространств наполнил палатку. И было очень хорошо в это

мгновение сидеть в теплой палатке, забыв о голоде, о человеческих страданиях, о том, что за тонкими стенками палатки стоит огромный и печальный мир ледяных пространств, страна холмов, озер и болотистых низин под этим мглистым небом и россыпью бледных арктических звезд.

Тоня поворачивает лимб, переводит приемник на короткую волну. Визг норвежской радиостанции, затухающая музыка парижской консерватории, военные марши с Запада. Москва. «Последние известия».

— ...До Нового года осталось полчаса,— неожиданно врываются в сознание Тони слова диктора.— Поздравим всех живущих на великой русской земле с наступлением Нового года.

Тоня смотрит на ручные часики и с трепетом следит за минутной стрелкой.

Музыка затихает.

«Сполохи»,— думает она и вспоминает под тихую и печальную музыку Костю, столик-кафедру на третьем этаже фабрики, талончики: «драп», «бостон», «шевиот».

«Костя, милый Костя».

Веселая музыка нисколько не развлекает ее. Тоня садится на кровать, прячет лицо в подушки, и плечи ее тихо вздрагивают.

В палатку входят старик и старуха из соседнего чума.

— Не плачь, девушка,— говорит слепая старуха, наклонив сосредоточенное лицо над Тоней,— мы тебя любим, у тебя сегодня большой праздник, а ты плачешь!

— Не надо плакать, девка,— говорит старик,— я убил медведя, и все стойбище сыто, а твою долю я тебе принес.

И охотник показывает Тоне большой кусок заиндевевшего мяса. Тоня печально улыбается и внезапно чувствует приступ тошноты.

— Дайте... мне... поесть...— просит она, теряя сознание.

Когда она открывает глаза, незнакомый человек кладет ей на лоб жесткую руку.

— Ничего, Тоня Ковылева. Ты молодая. Теперь веселее будет жить...

Начальник милиции тепло улыбается и сам готовит девушке кофе, распечатывая финским ножом консервную банку.

Вместе с теплыми ветрами, прилетевшими от лесов, появились на тундровых сопках первые ворюи — проталины. Снега пожелтели и поползли к оврагам и болотистым ни-

зинам. Из озер потянулись по ветру дымчатые утренние туманы, а, когда из моря выплывало солнце, на проталинах поднимали задорливое щебетанье пунухи.

Миша Якимов любил северную весну.

Как только наступала весна, он приезжал в Красный город, который когда-то сам строил. Сидя в окрисполкоме, он спешил закончить со всеми делами, связанными с тунсоветом.

Но странно: чем он упорнее работал, тем больше росло дел.

По Печоре уже плыла ледяная шуга, позванивающая, как тонкое стекло. Приходил и уходил последний пароход, и только тогда Миша Якимов вспоминал, что отпуск его прошел. Провожая иностранный лесовоз, Миша с грустью думал о далеких теплых морях.

— Ты понимаешь, Маруся,— говорил он секретарю окрисполкома,— какие острова есть в Тихом океане?.. Фиджи, Борнео, Суматра, Ява, Целебес, Тасмания, Каролинские. Понимаешь: Тасмания. От одного слова закачаешься.

— А ну тебя,— говорила Маруся, близоруко всматриваясь в его отчет.— Подумаешь — капитан Кук! Ты бы лучше в отпуск куда-нибудь съездил, а то сидишь... Острова...

— Ни черта ты не понимаешь,— сердился Миша Якимов.— Наймусь на пароход матросом — и в заграничное плаванье. Вот в следующий отпуск обязательно зафрахтуюсь.

Миша Якимов искренне считал, что стать матросом дальнего плавания так же легко, как, например, проехать из Табью-Яга до Вашуткинских озер — не больше тысячи километров!

Но шел год за годом, а Миша Якимов по-прежнему оставался в округе. То оказывалось, что заболел председатель тунсовета, то экспедиция Академии наук нашла в горах Пай-Хоя и на Вайгаче каменный уголь, флюорит, цинковую и свинцовую руду, а выбраться из тундры не могла. Кулачье вело враждебную работу, и ненцы не давали для экспедиции тягловой силы. То в стойбище у реки Неруты шаман разгромил Красный чум и избил учителя...

Нужно было побывать везде, принять меры, расследовать, помочь, ободрить не привыкших к Заполярью культурных работников своего Совета.

Летел месяц за месяцем, и только на пятый год пребывания в тундре Миша Якимов окончательно решил: на южный берег Крыма он поедет обязательно.

А пока оленья упряжка легко несла Мишу к стойбищу Васьки Харьяга. Там сейчас работал суд. Необходимо было проследить за выполнением приговора.

Со дна глубокой долины Миша увидел тоненькие дымки, поднимавшиеся к небу.

...Васька Харьяг держал последнее слово...

Он стоял перед судом, а судьи сидели по другую сторону костра и смотрели в свои бумаги.

— Я люблю Советскую власть,— говорил Васька Харьяг, но пастухи заметили, как медленно и свирепо сжимаются его кулаки.— Я темный человек. Нас, ненцев, угнетал царь...

— Садитесь,— сказал судья,— если у вас все.

— Суд удаляется на совещание,— сказал по-ненецки секретарь суда.

«Куда же они удаляются?» — улыбнулся Миша Якимов, но секретарь суда был находчивый человек. Он попросил на полчаса всех выйти из чума.

...Васька Харьяг вскоре узнал о своей судьбе. Полторы тысячи его оленей получили пять пастухов.

Васька Харьяг спокойно выслушал приговор, но, когда батраки крепкими тынзеями стали делить стадо на пять равных частей, он заплакал от бессилия. Два милиционера стояли по бокам его, чтобы потом отвести в тюрьму...

Вечером в парме Явтысого собрались бывшие батраки Васьки Харьяга — Делюк Вань, Халиманко, Выль Паша.

Из трех чумов был сделан один большой чум, но и он не вместил всех, приехавших на такую важную соборку.

Собрание открыл Миша Якимов.

Он сказал:

— Пусть каждый вспомнит, как он жил у хозяина, и подумает, как он хочет жить дальше.

И впервые женщина, жена Терентия Вылко, нарушила завет веков. Она подошла к костру, и голос ее задрожал:

— Я хочу...

— Говори, Степанида, говори,— сказали мужики,— теперь все право имеют говорить.

По лицу женщины побежали слезы:

— Мне обидно,— сказала она,— мы все радуемся нашим богатствам, а об русской учителке позабыли. А ведь она...

Мужчины смущенно переглянулись и наперебой стали выскакивать из чума. Вскоре они осторожно внесли в него койку с Тоней Ковылевой.

Она, точно в полузабытьи, подняла тяжелую голову. Тело ее свернула цинга.

— Спасибо, товарищи,— тихо сказала она, попыталась улыбнуться, но застонала и откинулась на подушку.

— Я сейчас... договорю,— выдохнула она и потеряла сознание.

Миша Якимов подбежал к ней, и горькая жалость обожгла его. Вот не успел он здесь вовремя прийти на помощь. И без него бы приговор был приведен в исполнение, а он...

— Предлагаю, товарищи, послать самого лучшего ясовея на юшарскую радиостанцию. В Красном городе есть самолеты. Можно спасти ее...

— Я все сделаю для нее,— поднялся Терентий Вылко.

Секретарь тунсовета написал телеграмму, и Терентий выскочил из чума.

И, не дожидаясь разрешения, всю жизнь молчавшие пастухи начали говорить. Казалось, к ним вернулся дар речи. Они говорили и плакали. Они вспоминали детей, умерших от голода, испанки, туберкулеза, побои хозяев, тундровые весны и зимы, нужду, невеселый огонь своих чадящих костров, и всем им стало ясно — Явтысый прав.

— Мы хотим быть в колхозе! — кричали они, перебивая друг друга.

— Пиши,— радовался Явтысый, тыча корявым пальцем в блокнот Миши Якимова,— сто оленей.

— Двести двадцать, запиши-ко,— Феодосий Лаптандер.

— Триста — Семен Ноготысый.

— Тридцать пять — Иван Пырерко.

— Триста двадцать — Егор Вануйто.

Семнадцать хозяйств. Три с половиной тысячи оленей.

— Теперь нам нужно выбрать правление колхоза,— сказал деловито Миша Якимов. Он знал, что излишний восторг с его стороны может испортить все дело.

— Пусть будет председателем Явтысый.

— Саво!

— Сац саво!

Над Тоней Ковылевой наклонилась Степанида Вылко. Она бережно положила свисшую косу ее на грудь и прошептала взволнованно:

— Слышишь, девушка? Явтысый председателем выбран.

Глаза девушки были закрыты, а лицо мертвенно-сине. Но, как в глухом тумане, доносились до ее сознания слова Миши Якимова:

— В члены правления предлагаю выбрать Степаниду Вылко и Тоню Ковылеву.

Руки, как чайки, взмыли над собранием.

— Единогласно? Очень хорошо,— отметил в своем блокноте Миша Якимов.

— Еще нужно двух членов правления в ревизионную комиссию.

И было сделано все, что предлагал Миша Якимов, а Тоня Ковылева по-прежнему боролась с болезнью. Наконец она подняла голову и громким, неожиданно радостным голосом произнесла:

— Назовите наш колхоз «Нгер Нумгы» — «Полярная звезда».

И теперь уже надолго потеряла сознание.

В ту же ночь все олени были соединены в одно большое колхозное стадо.

— Куда же гнать их? — спросили пастухи у Явтысого.

— К морю,— сказал Явтысый,— теперь, парень, от моря до лесов одна тропа. Тропа нашего колхоза «Нгер Нумгы».

Видишь? Там...далеко...дымки стойбищ

Сделав круг над стойбищем, самолет пошел на посадку. Летчик знал — это было рискованное предприятие. Если бы не утренний морозец, укрепивший наст в долине, самолет надолго мог остаться здесь. Описав лыжами полуовал, самолет остановился у одного из костров.

Летчик обернулся и крикнул что-то сопровождавшему его спутнику.

Из задней кабины вылез человек в полушубке, и колхозники ахнули от восхищения.

Это был Хойко.

— Торопись, орел,— сказал летчик,— времени мало.

Он хотел еще что-то сказать веселое, но смущенно замолк.

От ближнего чума на носилках несли женщину. Осторожно ее посадили в кабину. Она поманила рукой Явтысого.

— Жди меня. А бинокль я тебе обязательно пришлю. Обо всем мне пишите, ведь я тоже член правления...

Она закрыла глаза и от боли заплакала.

«Не приедет»,— подумал Явтысый и покачал головой.

К кабине наклонился Миша Якимов.

— Обязательно на юг, Миша. Ладно? А заедешь в Москву, обо всем...

Она не договорила. Летчик широким ремнем прикреплял ее к сиденью.

— Больше бодрости... Больше...— басом говорил он.

— Жди, Явтысый...

Старик вновь подошел к самолету.

Слабой рукой Тоня обняла его и поцеловала в лоб.

— А тебя, Миша... в Москве.

Летчик уже завел мотор. Самолет плавно сорвался с места, и Тоня посмотрела на толпу, что окружала его.

Это были колхозники «Нгер Нумгы». Сколько огорчений и радости принесли они ей!

Она помахала рукой. Хотела крикнуть что-то бодрое и нежное, но голос осекся, и девушка закрыла глаза.

Самолет сделал три круга над стойбищем, и, когда Тоня посмотрела вниз, он уже летел прямо по курсу, на юг.

Бледно-оранжевая тундра с никелевыми тарелками озер качалась под самолетом, и Хойко от восхищения толкал Тоню локтем. Потом он бережно натянул на ее руки варежки, стер носовым платком слезы с ее щек и, наклонившись к ней, сказал:

— Ты не плачь, все пройдет. Меня окружком комсомола послал за тобой, и я тебя довезу. Только не сердись на меня. Ладно?

Хойко тяжело вздохнул.

Тоня улыбнулась бледными губами:

— За что же мне на тебя сердиться?

— Я, понимаешь... тебя... не люблю теперь. Раньше я тебя любил, а стал учиться — и полюбил Лену Семенову, и я не могу без нее жить на свете.

Тоня сделала грустное лицо, а глаза стали смешливыми.

— А ты на меня не рассердишься?

— Нет,— печально ответил Хойко.

— Я ведь тебя тоже не люблю,— сказала она.

Хойко повеселел.

— О тебе теперь все газеты пишут, говорят, что ты герой,— сказал Хойко и добавил торопливо: — Да ты чего плачешь? Больно? Да?

И, как развлекают ребенка, он стал показывать ей на горизонт.

— Вон видишь? Там... далеко... дымки стойбищ... Вот сколько у тебя друзей... Хорошо!

И от восхищения Хойко зацокал языком.

ПЕРВАЯ ЖЕНА ТАДИБЕЯ

Глава первая

Савонэ дрожащими руками подкладывала в костер черные сучья яры, украдкой наблюдая за багровым лицом мужа.

— Сядь. Чего вертишься? Думать мешаешь,— говорит сердито Халиманко.

Она сняла чайник с огня и ушла за занавеску. На широкой постели лежали две другие его жены. У старшей из них, Степаниды, болели глаза. Вывороченные трахомой, веки ее слезились. Степаниду мучил кашель, и желтыми руками она давила грудь, сдерживая боль.

Самая молодая жена Халиманко, Сэрня, была полной противоположностью Степаниды. Коренастая фигура, толстые икры и руки мастерицы. Недаром полюбилась она тадибею.

Женщины обняли Савонэ, и Сэрня пошла угощать мужа. Не глядя, Халиманко принял из ее рук пестро раскрашенную фаянсовую чашку и медленно стал пить чай.

В чуме, среди своих жен, Халиманко любил нежиться у огня и пить чай, закусывая мороженой нельмой. Так должен отдыхать всякий уважающий себя тадибей, у которого три жены и такие стада оленей, что для выпаса их не хватало пяти пастухов.

— Савонэ,— тихо позвал Халиманко, и женщины испуганно вздрогнули.

Савонэ подошла к мужу, опустив глаза. Теплой водой она обмыла его преющие ноги. Халиманко кашлянул, потом решительно отвернулся от костра.

— Отныне ты будешь ходить в стадо,— пастухов не хватает. Дома у меня есть молодые жены.

— Я совсем плохо вижу,— сказала Савонэ,— и без этого подохну...

Гневный блеск заметался во взгляде Халиманко. Ему возражает женщина? Он поднялся во весь рост и отшвырнул тазик. Дрова в костре зачадили, стайка чашек разле-

телась в стороны. Резким пинком в лицо Халиманко сшиб Савонэ к занавеси. Изо рта ее показалась тонкая струйка крови.

Халиманко хотел ударить еще раз, но промахнулся, задев головню. От толстого корня отскочил уголек и упал на голову неподвижно лежавшей Савонэ. Послышался запах горящих волос. Заскулили женщины.

— Выходите из чума! — крикнул Халиманко.— Она изменила мне. Она проклята! На нее упал уголь!

...После часового забытья Савонэ открыла глаза. Смутный рассвет мерещился в мокодане. В чуме не осталось ни шкур, ни скарба. Только на тагане висел медный чайник да тлели угольки в костре.

— Выйди из чума! — крикнул Халиманко.

Женщина натянула старую малицу, выползла на свет. Потом упала и заплакала. Свернутый чум батраки Халиманко уложили на сани и, не оглядываясь, повели длинный аргиш прочь от проклятого места.

Тихая снежная поземка закрутилась над чумовищем.

Савонэ подползла к костру и, полуслепая, слезящимися глазами смотрела, как умирает старое пламя...

Глава вторая

Нарты легко неслись на север, к фактории. Солнце било в спину. Изредка покрикивая на упряжку, мужчина оборачивался и смотрел на горизонт.

На вторых нартах, в крепко стянутом брезентовом чехле, лежали шкуры песцов, лисиц. Снаружи чехла были видны только их хвосты.

— Скоро, Саша?

— Скоро. Смотри, нет ли дыма.

Лена посмотрела на горизонт. Лицо ее оживилось. У нее было отличное зрение. Потрогав рукой щеки (привычка), она свистнула задумчиво:

— Чумы кто-то ставит.

— Где?.. Тебе все мерещится.

— Верно! — сказала Лена, и Саша увидел, что она права.

— Тем лучше,— сказал он, передал жене хорей и закурил папиросу.

Потом они ехали с сопки на сопку, из низины в низину, но дым из мокоданов был так же далек и заманчив.

— Проклятые,— сказала Лена,— я очень хочу есть. Сейчас Ислантий на фактории уже пьет чай.

Они долго еще ехали. Чумы были все еще далеко. И только когда солнце покатилось по ниточке горизонта и снова поплыло к зениту, они подъехали к чуму Халиманко.

Хозяин вышел навстречу им. Он разводил руками от удовольствия и лепетал торопливо:

— Давно ждал тебя, Александр Степанович. В чум давай проходи. Кому-кому, а русским я всегда рад. Справедливый народ. Чарку выпей — с холоду.

Халиманко улыбался. Лена, сердито посмотрев на Сашу, вошла в чум.

Две молодые жены приветливо кивнули гостье и еще быстрее засуетились у костра. Забурлила вода в чайниках. Запахло свежим мясом и кислым ржаным хлебом.

Потом гости и хозяин сели на латы, откинув капюшоны малиц. Женщины молча подавали кушанья. Хозяин достал вина, но гости отказались выпить.

— Я и позабыл,— сказал Халиманко,— что коммунистам пить нельзя.

— Мы не за этим сюда приехали.

Халиманко нахмурился и замолчал.

— Пушнина есть? — спросил Саша.

— Как не быть! Есть.

— Сдаешь?

— Да надо сдать чего ли... Сэрня!

Женщина проворно выскочила из чума. Через полчаса она вернулась, дрожа от холода, и в руках ее была связка песцовых шкур.

— Гляди маленько.

Саша тщательно осмотрел песцов и сказал цену.

— Бери. Товаров брать не буду.

Саша отсчитал деньги. Вежливый хозяин не стал их пересчитывать. Он вышел из чума и на морозе тщательно проверил хрустящие червонцы.

Потом он вернулся обратно и приказал постелить гостям шкуры, а сам уехал в стада проверить работу пастухов.

Вернулся он уже поздно, но гости все еще не спали. Тая тревогу в голосе, он спросил:

— Слухи ходят — пароходы к фактории приедут. Город строить думают.

— Будет город,— сказал Саша.— Через год ты не узнаешь факторию, флюорит нашли там. Хорошо тогда в тундре будет.

— В тундре всегда было хорошо.

— Как для кого,— сдержанно улыбнулась Лена.

Саша строго посмотрел на нее.

— Было и плохо кой-кому,— сказал Саша,— но будет хорошо. Не скоро, а будет.

Халиманко ушел за занавеску к своим женам и скоро захрапел басовито. Слабо тлели угольки в костре. Курил Саша. Лена закрыла глаза и крепко заснула.

Глава третья

Савонэ шла, утопая в сугробах, отводя от лица пряди заиндевевших волос. В руках ее была кривая палка от тагана. На целый мир лежали впереди гряды сопок и запорошенные снегом овраги. И оттого, что мир перед ней был так необъятен, ноги ее подкашивались и первобытный страх сжимал ее сердце.

Она шла, и знакомые очертания речки напомнили ей о юности. Семнадцати лет она была гибка, как тундровая лозинка. Савонэ стояла на берегу вот этой речки и мыла в реке волосы, длинные и черные, как крыло ворона. Каждое утро она заплетала их в тугие косы и не думала о будущем. Но однажды батрак Вань Вась ехал на оленях к стаду и, переезжая речушку, посмотрел ей в лицо. Она ответила ему таким же взглядом смятения и нежности.

После этого Вань Вась три луны и три солнца работал на хозяина и собрал стадо на выкуп. Отец Савонэ пнул ногой подарок свата — песцовую шкуру и сказал неторопливо:

— За бедняка отдам, за лентяя отдам, за вора отдам. За зырянина или тунгуса — нет.

— Мы поганые, мы потеряли счастье, и нас не отдают за того, кого мы любим,— говорила тогда мать Савонэ,— даже в песне про это поется.

И она спела Савонэ эту хынос — былину.

«...Жил на Большой земле у грозного моря пастух Тэт Кок Яран — Лебединой Ноги Сын. В чуме его никогда не утихал холодный ветер, в животе — голод, и даже костер ни одного дня не горел у него непрерывно.

Но Тэт Кок Яран был веселый человек. Он пел песни и смеялся над хмурым небом.

Но в год, когда потеряли ненцы счастье, он пере-

стал петь свои песни. Любимую девушку он уже не называл нежным именем, и от тоски в его чуме стало еще беднее.

Он созвал пастухов и сказал им, что пойдет искать правду для ненцев.

— Дайте моей девушке рыбы, мяса и шкур. Если же я умру, пусть ее возьмет в жены любой из сородичей, только не тунгус, зырянин или остяк.

— Пусть твое слово будет крепко, как стрела охотника в сердце недруга,— сказали ненцы.

Тэт Кок Яран простился со всеми, съел в виде клятвы семь горячих угольков и пошел по тундре искать счастья.

Шел он луну, потом три луны, да еще три луны. Нет нигде счастья. Только снег за нартами ветром крутит. Посмотрел Тэт Кок Яран на небо и погнал дальше маленькую упряжку. Видит — за седьмой сопкой — деревянный чум стоит.

Вошел Тэт Кок Яран в чум, сказал:

— Здравствуйте.

— Проходи, богатырь,— сказал пузатый мужик,— гостем будешь.

— Мне некогда гостить, я счастье ищу,— сказал Тэт Кок Яран.

— Вот оно, счастье,— ответил мужик и поставил рядом с самоваром бутылку с водой.— Садись.

Тэт Кок Яран сел. Выпил семь чашек чаю, три чашки горькой воды из бутылки, и ему стало хорошо, как на седьмом небе у Великого Нума.

— Я по глазам твоим вижу, что теперь ты счастлив,— сказал мужик.

— Правда твоя,— сказал, качая тяжелой головой, Тэт Кок Яран.— Я счастлив, но почему же болит мое сердце? Почему народ мой в горе?

— Народ твой тоже будет счастлив. Сходи за двенадцатую сопку, где чум русского шамана стоит. Найдешь там моего друга, он научит твой народ счастью.

Тэт Кок Яран так и сделал. Он заплатил мужику семь олешек за счастье в бутылке и поехал дальше. За двенадцатой сопкой стояло много деревянных чумов. Друг мужика накормил Тэт Кок Ярана и сказал:

— Сначала тебя православным сделать надо.

— Делай,— сказал Тэт Кок Яран.

Русские мужики схватили его, раздели, сунули в кадку, надели крест, и Тэт Кок Яран стал православным.

— Если все будут православными, то счастье снизойдет на твоих сородичей,— сказал шаман-поп.

— Это не то счастье,— сказал Тэт Кок Яран, заплатил попу семь олешек и поехал дальше.

Навстречу ему попался грозный русский богатырь — урядник. Он отобрал последние семь оленей Тэт Кок Ярана, отстегал его нагайкой и сказал:

— Считай за счастье встречу со мной. В городе я бы с тебя всю шкуру спустил.

Тэт Кок Яран посмотрел на небо, сорвал крест, затоптал его в снег и пошел дальше.

Он шел семь лун и семь солнц, пока не увидел золотой чум русского Нума. Бог ел картошку с сахаром и прикусывал белым хлебом.

— Здравствуй, Тэт Кок Яран,— сказал бог,— ваше счастье я царю отдал. Иди к нему — может, он и отдаст.

А царь тут как тут.

— Отдал я счастье другим народам, а если Тэт Кок Яран хочет получить его, пусть он идет воевать за меня.

Тэт Кок Яран взял ружье и ради счастья народа пошел на войну.

...Вскоре его девушка увидела, как алеют снега и олени в страхе мечутся по тундре. Семь лун она посыпала свою голову золой и не разговаривала с юношами. Потом она пошла искать по тундре мертвое тело Тэт Кок Ярана. Голод бежал за нею вслед. Он уже стал душить ее, когда среди снегов на сустуйных олешках показался тунгус, похожий на Тэт Кок Ярана. Он ехал по тундре искать счастье своему тунгусскому народу, и девушка стала его женой.

А Тэт Кок Яран умер не шибко. Прилетела стрела к нему на войну, он приложил ее пером к уху, и она рассказала ему обо всем. Тогда Тэт Кок Яран совсем умер. Снега покраснели на одну луну, а дух Тэт Кок Ярана стал тоскливым ветром и подул над тундрой. То плакал Тэт Кок Яран.

С той поры, когда одна из них породнилась с тунгусом, ненецкие женщины стали трижды несчастливы: их били, как животных, и для родов ставили поганый чум. Женщины потеряли красоту. От непосильной работы у них согнулись ноги, как корни тундровой березы, глаза их покраснели от дыма и болезней».

...Вот и она, Савонэ, проклята за любовь к тунгусскому юноше. Ее отдали замуж за Халиманко потому, что он

был знатен и богат, а она красива своей силой и любовью к хозяйству.

В сорок пять лет она стала совсем седой.

Тихо плыли низкие тучи, приближаясь к горизонту. Седые космы волос Савонэ, вылезшие из-под мехового капюшона, заиндевели и жгли лицо. Малицу продувало.

Женщина остановилась достать иголку с ниткой и, тяжело дыша, починила подол старой малицы. Взгляд ее скользил по пустынным снегам, ни на чем не останавливаясь. Она пошла дальше, шатаясь, как подбитая куропатка, шла все медленнее, ей хотелось спать. Предсмертная обманчивая теплота разливалась по ее телу, когда она упала у подножия сопки...

Глава четвертая

Спросонья Халиманко забыл о присутствии гостей. Откинув меховое одеяло, он пнул одну из жен, и она метнулась к костру. Через колено ломала хворост. Вешала на крюки чайники со снегом, дула на угли. Саша проснулся и вышел покормить собак. Молодая жена Халиманко достала сахару, наколотого мелкими кусочками, и положила его в тяжелую стеклянную сахарницу. Лена хмуро одевалась. Ей хотелось поскорее уехать из этого чума.

Халиманко, как и накануне, достал вина, предложил гостям и, услышав отказ, с удовольствием выпил сам. Саша посмотрел на женщин.

— Где же твоя старая жена?

Женщины переглянулись. Халиманко сделал вид, что не слышал вопроса, и быстро вышел из чума. Там он постоял немного на морозе и, воротясь, торопливо начал пить чай.

— Где же Савонэ? — вежливо спросил Саша.

Халиманко побагровел.

— Молчи про нее! Она поганая! На нее упал уголь!

Саша отставил чашку. Он растерянно посмотрел на хозяев.

— Я на чумовище ее бросил. Может, подберет кто. Она живучая.

Лена побледнела. Вставая, она пролила чай и никак не могла найти свою малицу.

Саша тоже поднялся и сказал медленно:

— Тебя будут судить за это!

— Я тебе говорила! — крикнула Саше, передергиваясь от омерзения, Лена.

— Тебе здорово попадет за это,— сказал Саша хозяину и вслед за Леной вышел из чума.

Халиманко услышал свист бича. Он спрятался за занавеску к притихшим женщинам.

Щелкая бичом, Саша гнал упряжку по следу нарт Халиманко. На каждой сопке он вынимал бинокль, но только к вечеру измученные собаки подтащили его к чумовищу. Снег уже засыпал костер, и только косо воткнутая саженная жердь указывала, куда увел свои стада Халиманко.

Лена кормила вспотевших собак и глядела на север.

Саша молча курил, покусывая папиросу.

Поземка закружилась и заплясала на вершинах сопок, спускаясь в долины. Она затуманила горизонт и мешала собакам бежать. Вожак почему-то мчался боком, а потом резко поворотил упряжку и остановился по другую сторону речки у запорошенных кустов.

Лена спрыгнула с саней и вскрикнула. У куста, распластав руки, ничком лежала женщина. Саша достал из своей сумки спирт, отнес женщину на нарты и оттер ее помороженное лицо.

— Это Савонэ,— сказал он, когда женщина застонала,— разожги костер.

Лена вырыла у куста небольшую ямку, достала с нарт смолевых щепок и дров, и Саша подвел Савонэ к огню. Та испуганно осмотрелась вокруг, сняла тобоки и обтерла ноги...

Тем временем Саша помог натянуть Лене брезентовую палатку. В ней установили керосинку, и хотя в палатке сильно пахло керосином, зато было тепло, как в комнате.

Савонэ с безразличием подчинилась Лене — перешла в палатку, но от еды отказалась.

— Что она говорит?

— Зачем кормить поганую,— перевел Саша,— поганая должна умереть, чтоб не разгневать добрых духов.

— Дудки,— сказала Лена.

— Ты спи давай,— сказал Саша,— а я посмотрю за ней. Мало ли что ей вздумается.

— Тогда почему бы мне не дежурить?

— Ты слабее меня, Лена.

Это обидело девушку. Она сжала губы и, отвернувшись, села у выхода.

— Ну что ж,— сказал Саша,— хочешь сама — изволь,— и с удовольствием захрапел.

И Лена пожалела, что ей нельзя так спать. Мало ли

что может случиться! Она прикрутила фитиль в керосинке и слушала, как скулят во сне собаки, прижимаясь к стенкам палатки, как визжит по-песцовьи ветер в кустах. Сквозь слюдяную пластинку керосинки был виден двойной гребешок огня, и Лена настроилась на задумчивый лад.

Свист ветра убаюкивал ее,— незаметно она уснула.

Савонэ подняла голову, посмотрела в простое и мужественное лицо девушки и, сгорбившись, выползла в тоскливую ночь...

— Где же Савонэ? — спросил, проснувшись, Саша.

Подбавив огня в керосинке, он выругался:

— Дьявола кусок!

Лена виновато смотрела в угол палатки.

— Она...

— Молчи, женщина! — закричал Саша и выскочил из палатки. Он был зверски зол на себя.

— Что ты молчала о том, что она убегает?

Лена перевела смущенный взгляд на керосинку. Свернув палатку, они поехали наугад. Косматые собаки рвали постромки от избытка сил, не разбирая пути.

— Она недалеко,— сказал Саша,— вожак мордой крутит.

Вожак действительно беспокойно водил носом.

Около большого куста яры вожак взвизгнул и промчался вместе с упряжкой мимо холма.

— Что-то черное впереди, Саня!

— Она, кто ж больше!

Женщина заметила упряжку и силилась уйти за сопку, но собаки пересекли ей дорогу. Она села на снег и закрыла лицо.

Лена подошла к ней, но Савонэ вскочила и замахала в ужасе рукой.

— Уйди, русская девка! Уйди! Я поганая!

— Ну что за ерунда! — сказала Лена.

Глава пятая

В свободное время сторож фактории любил размышлять о хорошей охоте на голубых песцов и о смысле жизни.

Особенно хорошо ему размышлять утром. Он вставал рано и начинал разжигать большой самовар, полученный в премию от Союзпушнины. Самовар был капризен. Он ни за что не хотел закипать. Тогда Ислантий вытаскивал из-под кровати огромный, точно сшитый на мамонта сапог и, наставив его в виде меха, начинал усиленно раздувать огонь.

Самовар издавал комариный писк. Писк становился все сильнее и сильнее, и вскоре самовар пыхтел, как паровоз.

Нарезав хлеба, Ислантий готовил себе завтрак: мороженую семгу, чугунок картошки в мундире, рассыпчатой и вкусной, две ноги зайца и куропатку, сваренную неделю тому назад.

Когда самовар поднимал в комнате невероятный свист, Ислантий накрывал его голову золотой камилавкой — заглушкой.

И в торжественной тишине Ислантий приступал к завтраку.

Опоражнивая чашку за чашкой, Ислантий глядел на север. Синеватые снега были спокойны и пустынны. Но если на горизонте показывалась черная точка, Ислантий начинал размышлять о том, кто едет, сколько сдаст пушнины и какими новостями богат.

Когда охотник подъезжал близко, Ислантий трижды топал ногой, и Саша просыпался и тоже смотрел в окно, а Лена готовила гостю чай.

Сегодня утром Ислантий, как обычно, посматривая в окно, пил чай. Заметив на горизонте точку, он не торопясь съел тарелку семги, чугунок картошки, половину зайца и куропатку. Когда он кончил завтрак, хозяева уже подъезжали к фактории. Заведующий освобождал от упряжи собак, а Лена повела женщину в комнаты.

Ислантий не успел ее разглядеть, выходя во двор покормить собак. Савонэ осмотрела комнату и села на пол у порога.

Глава шестая

Двое суток Савонэ не выходила из комнаты и не разговаривала ни с кем. Ислантию, наконец, это надоело. На третий день он повел ее на склад.

Дымчатые шкуры голубых песцов, пушистые хвосты бурых лисиц висели посреди склада. Отсвечивали серебром меха зайцев и нерп.

— Много,— удивилась Савонэ.

— Это ли много! — сказал Ислантий и подвел ее к синей занавеси.

— Вот посмотри.

У Савонэ заблестели глаза. На стеллажах сверкали солнцем медные котелки, зеленые эмалированные кружки, сизым морозом отливающие винчестеры, темные пачки табака. Отрезы сукон — синих, алых и желтых, кипы доброт-

ных палаток, полозья для нарт, ящики мыла, белоснежных галет, сахара и плиточного чая.

А за стеклянными витринами переливались яркие шелковые ленты.

Савонэ смотрела счастливыми глазами на все эти сокровища и шептала:

— Какой ты богатый, русский поп!

— Ну вот и работа тебе. Стекло почисти, шкуры потряси.

Он подал ей тряпку и ведро. Она принесла снегу и стала протирать витрины. Ислантий, сидя за книгой сданной пушнины, искоса наблюдал за ней.

— Когда ты, поп, разбогател-то? Знаю — бедно жил.

— Ну вот еще,— сказал Ислантий,— это советской власти товар. Я только сторожу от худых людей.

— Правда. От хороших людей зачем сторожить!

Они продолжали работу, думая каждый о своем.

Потом приехали охотники, наполнили склад новостями.

— Что слышали ваши уши? — спрашивал Ислантий, замечая, как Савонэ спряталась за тюки пушнины в углу склада.

— Много новостей, хозяин. Товарищ Кузнецов где?

— Спит товарищ Кузнецов.

— Скажи ему: Халиманко за Камень побежал, батраки сказывали.

— Пусть бежит.

— Он Савонэ убил. Боится.

— Пусть боится. За Камнем тоже тунсоветы.

— Еще слух слышали. Выучей Семка батраку голову попортил.

— Веселое дело. Судье работа есть. Ну, выбирайте товар.

Охотники забрали муки, охотничьих припасов, по дюжине пачек нюхательного табаку и уехали.

Глава седьмая

Чудесная жизнь развернулась перед старой Савонэ.

В одну из длинных полярных ночей подъехали к фактории несколько няпоев — поездов оленьих упряжек. На нартах лежали бревна, кирпичи, железные трубы, доски.

Сто строителей сопровождали этот груз, весело ругая сорокаградусный мороз и тундру. Это не мешало им хвастаться, что они здесь построят тундровую столицу.

— Назло надменному соседу здесь будет город заложен,— продекламировал курносый парнишка.

— Здесь соседи хорошие,— сказала Савонэ,— раньше тунгусы были сердиты на наших пастухов, а теперь ничего. Тунгусы тоже олешек пасут.

— Я это Пушкина читаю,— сказал паренек.

— Пушкина? Может, и правда у него худые соседи были,— сказала Савонэ и пошла в склад перебирать товары. Она считала теперь это своей обязанностью. Во время работы ее не мучили воспоминания. К тому же она не осуждала Халиманко, потому что закон тундры древен и мудр. Если бы она не любила когда-то тунгуса, на нее б не упал уголь.

Кончив работу в складе, Савонэ обходила чумы строителей. Днем они взрывали аммоналом вечную мерзлоту, клали фундамент, а ночью ставили срубы. Тут были женщины: татарки, ненки, русские и даже одна калмычка, и, несмотря на то, что они были замужем за мужчинами чужой национальности, они от этого не были менее счастливы.

Савонэ приходила в домик фактории и спрашивала Ислантия:

— Скажи, поп, почему я худо жила?

— Так надо было царю и церкви. Однако клянусь, старуха, что ты скоро поймешь Советскую власть. Поняла меня?

— Нет,— чистосердечно признавалась Савонэ.

— Пойми главное, что Халиманко трусливый заяц, а остальное потом поймешь.

— Ладно,— сказала Савонэ.

Глава восьмая

Новый, пахнущий сосновым бором двухэтажный дом стоял в лесах. Поодаль подводили фундамент под баню. С фонарями «летучая мышь», не обращая внимания на мороз, плотники заканчивали установку стропил. В одной из начерно отделанных комнат спешили столяры. Никто не оставался бездеятельным. Даже ребятишки нашли работу. Они показывали Савонэ самые лучшие в мире щепки.

Савонэ запасала дрова, чувствуя себя ответственной за хозяйство фактории. Руки ее, не привыкшие к безделью, энергично наводили порядок на складе, и даже самовар Ислантия в ее руках закипал быстрее.

Время торопилось, как торопятся птицы, летящие на юг.

С наступлением полярной ночи красавец дом стоял под звездным небом. Над ним качался изменчивый, оранжево-алый полукруг северного сияния, постепенно удаляющегося в ночь, к Полярной звезде.

Савонэ стояла на крыльце фактории, с открытой головой, позабыв о морозе. И впервые в ее душе родилось что-то похожее на обиду. Она ведь могла жить так же хорошо, как товарищ Кузнецов и Лена, если б ее не отдали за Халиманко.

Ислантий колол дрова. Савонэ подошла к нему.

— Скажи, поп, чем тунгус хуже ненца?

— Ничем, старуха. Все это придумали урядники да попы. Иди чаю приготовь. Судья приедет сей день. Веселые дела пойдут.

Савонэ удивило, что в факторию приезжает много охотников. Они сдают по шкурке песца и ставят чумы в ожидании чего-то.

— Охотиться надо,— не вытерпела Савонэ.

— Судья приехал? — спрашивали те в свою очередь.— Выучея Семку судить будут. Милиция уже едет.

Глава девятая

И верно, привез Семку Выучея милиционер — закутанный в собачий тулуп толстяк. Его упряжку вел Ваня Лаптандер — батрак Выучея с туго забинтованной головой. Искалеченный хозяином, он потерял дар речи.

У милиционера было обмороженное лицо и редкие рыжеватые усы. От толчков нарт он пыхтел и ругался, потому что у него болел живот. В пути для острастки он говорил ехавшему впереди ясовеем Семке Выучею:

— Правильно, хозяин, веди. Я, смотри, нюхом дорогу чувствую.

Подсудимый угрюмо смотрел на небо и говорил, что будет плохо, если начальник долго проболеет животом.

— Ну, знаешь,— говорил милиционер, — я не впервые в таких переплетах бываю. Иной раз такого гада везешь, что дух занимает. Меня трудно провести. На юридическом фронте я собаку съел.

— Собаку съел — чего хорошего. Ни мяса, ни жиру нет,— сказал подсудимый, и они поехали дальше.

Ваня Лаптандер пытался говорить жестами, но у него

ничего не получалось, и он, сжав кулак, погрозил в спину хозяина.

— Факт,— сказал милиционер,— мы отобьем у него охоту драться. Много еще ехать?

Батрак отрицательно покачал головой и ткнул хореем на север. Милиционер долго смотрел в указанном направлении, но ничего не видел. Глаза его заслезились, а он все смотрел, пока ему не показалось, что вдали действительно мерцают алые и голубые огни. Олени, раздувая ноздри и сильно выкидывая ноги в стороны, мчались еще час-два и наконец остановились у фактории, полной народа.

Милиционер снял тулуп и повел подсудимого. Семка Выучей, держа в руках мешок с мясом, хлебом, сахаром и табаком, оглядел камеру, удовлетворенно послушал, как мучается с плохим замком, запирая его, милиционер.

Потом посмотрел в синюю ночь и стал с аппетитом есть мороженую оленину.

— Здравствуйте! — сказал милиционер, входя в факторию.— Кулак Семен Выучей к месту суда доставлен.

— Хорошо, садись чай пить,— ответил высокий и плешивый человек.

И милиционер только сейчас увидел судью.

— С удовольствием опорожню самоварчик,— сказал милиционер.

Глава десятая

Маленькая комната судебного заседания не вместила всех пришедших на суд.

Когда пришел судья, все почему-то встали. Савонэ подумала, что он большой начальник, и тоже встала. «Стало быть, надо так, коли все встают»,— подумала она, а тем временем судья читал обвинительное заключение. Оно было длинно и непонятно Савонэ.

— Семка Выучей плохо сделал что?

— Батраков бил,— ответил сосед.

— Зачем бить батраков? — сказала Савонэ.— Батракам тоже несладко живется.

— Убьют теперь Семку. Судья худой да плешивый. Убьют,— сказал сосед.

— Зачем убивать? — сказала Савонэ.— Заставить Семку батрачить, так узнает, как батракам живется.

Судья приступил к допросу.

Теперь все сидели, а стоял только Семка.

— Скажите, подсудимый, зачем вы били батраков? — спросил судья.

У Семки дрожали ноги. За судьей он видел на портрете строгое лицо Михаила Ивановича Калинина и подумал, что пощады ждать нечего.

— Что, подсудимый, вы молчите? Чем вы били батраков?

— Вануйту бил всем, сына его тынзеем, Япту бил, Пырерку бил, Явтысого бил, Талея не бил. Жену бил, она плохая для гостей, скупится для гостей. Двух других жен бил помаленьку, раза четыре чем попало. Если не забыл, только этих и бил... Лаптандера бил раньше; летом он убежал из табуна. Атувьи и Кергувьи тоже убегали из дальних табунов, бил их... Работники сердились из-за этого...

— А как пострадавшего?

— Ваньку я не бил... Он сам виноват.

— Да? — удивился судья.

Савонэ протиснулась к Семке. Она его знала хорошо. Недаром он был лучшим другом Халиманко.

— Ванька Лаптандер пьяный был и на хорей наткнулся. Ваньку я никогда не бил.

— Это правда? — спросил судья у зала.

Охотники и пастухи опустили глаза. Все они были в неоплатном долгу перед Семкой Выучеем.

Савонэ осмотрела зал, увидела страх в глазах сородичей. И она удивилась, что Семка вначале говорил правду, а потом стал врать.

— Так что же, это правда, пастухи и охотники? — снова спросил судья.

Семка обернулся и тяжелым волчьим взглядом осмотрел зал.

— Правда, начальник,— сказал он твердо,— все знают, что это правда.

— Нет,— сказала, изумляясь вранью Семки, Савонэ.— Семка, верно, забыл, как в гостях у Халиманко тыкал Ваню головой в снег за то, что он в колхоз хотел уйти. Зачем, Семка, ты забыл это?

И случилось то, чего хотел судья. Перебивая друг друга, пастухи и охотники рассказывали про злой характер Семки Выучея, про его хитрость и ненависть к Советской власти.

Судья расспрашивал так тщательно, что Савонэ и ее сосед решили, что он справедливый человек. Ваня Лаптандер отвечал на вопросы, кивая головой «да» или «нет».

Потом все встали. Семку повели на улицу и сказали, что он два года будет сидеть в тюрьме.

— Скучно там,— посочувствовала Савонэ,— олешек нет, баб нет.

А Семка кричал, что Ваньке Лаптандеру теперь все равно не жить, что пусть подохнут Ванькины олешки, потому что Халиманко отомстит за своего друга.

Когда Савонэ возвратилась на факторию, то у склада увидела прислонившегося к углу Ваню Лаптандера. По лицу его текла кровь. Он думал, что голова его зажила, и сорвал повязку.

— Зачем голову портишь? — с жалостью спросила она.

Она взяла его под руку и бережно повела в комнату Ислантия. Ислантий мучился с самоваром, потому что нигде не мог разыскать сапога. Увидя больного, он бросил хлопоты и побежал за аптечкой. Ловко орудуя бритвой, он снял волосы около раны, промыл ее и забинтовал розовой марлей.

— Молодец, старуха,— говорил он, брея заодно бороду и усы пастуху,— сегодня ты начинаешь краешком глаза видеть правду.

У пастуха кружилась голова. Он шевелил губами, еле держась на стуле.

— Плохо парню, спать положи, поп,— сказала Савонэ и помогла Ислантию перетащить пастуха на кровать.

— У меня сегодня сильно болят глаза,— сказала Савонэ и вытерла рукавом слезы.

Глава одиннадцатая

Утром к Савонэ пришли пастухи. Они глядели на нее с уважением. Охотник с больными глазами сказал, что у него не ловится песец, а у соседа ловится хорошо, потому что он шаманит. Нельзя ли будет отобрать у соседа песцов и разделить их между больными охотниками, ведь Советская власть не любит шаманов.

Савонэ выслушала охотника и сказала, что подумает над этим вопросом.

Второй охотник, маленький и щуплый подросток, спросил, можно ли ему бить жену.

Савонэ подумала и сказала:

— Нельзя: бабе, думаю, больно, и она худых мужиков рожать будет. А кому худые мужики нужны?

— Правда, правда,— согласился охотник и, бесконечно благодарный, ушел из комнаты.

Третьей пришла девушка. Осмотревшись вокруг, она попросила совета, стоит ли ей жениться на русском плотнике. Она его очень любит, и они уедут из тундры куда-нибудь далеко.

— Женись, девка. Что русский, что тунгус — все едино хорошо. Только дальше уезжайте, а то отец побьет.

— Его Саней звать. Он такой хороший — красный, красный, как тундра в августе.

— Ну вот и живите,— сказала Савонэ,— плотники хорошие люди. Они всегда мне щепки давали. Хороших щепок давали. Женись, девка.

С этого дня неожиданная слава легла на плечи Савонэ. Пастухи и охотники, рыболовы и почтовые ясовеи-проводники — все приходили к ней советоваться о жизни. Она с сердечной заинтересованностью выслушивала их и говорила, что думает. Вечером Ислантий и судья разрешали ее сомнения. Утром клиенты Савонэ получали мудрые советы.

Так росла ее слава.

Начальник фактории товарищ Кузнецов вместе с Леной разъезжали по тундрам, и Ислантий, заметно скучая, поговаривал о них все чаще и чаще.

— Хороший хозяин у тебя, поп,— говорила Савонэ с уважением.

— У хорошего хозяина неплохой и помощник,— отвечал, улыбаясь хитро, Ислантий.— Пушнины сей год большой урожай, хвалить товарища Кузнецова сильно будут. Может, премию дадут. Прошлую зиму из самой Москвы мне самовар прислали. Сейчас еще, знать, дадут.

— Бедно ты жил раньше, поп.

— Плохо... Когда от цинги помер дьякон, я написал в епархию о церковушке. Ветер в ней свистит, тундровые мыши резвятся, а есть нечего. Из епархии прислали мне только «Церковные ведомости», а потом за хулу на бога остригли власа, и я стал охотником.

— Оленщиком лучше быть.

— Нет, я просто плохой поп был. Настоящий поп всегда сыт.

— Зачем ругать себя? Ты хороший человек. Ненцам ты не мешал жить. Пастухи тебя уважают и не боятся, как шамана.

— Какой из меня поп? — сказал Ислантий.— Мой отец сапожник, любил вино и церковную музыку и вот с большим трудом выучил меня на попа, а из меня охотник вышел. А долгогривых я сам не терплю.

Глава двенадцатая

Страх гнал Халиманко к гулким отрогам Пай-Хоя. Ни тундровые бураны, поднимающие снежные смерчи, ни ледяной ветер — ничто не могло задержать его панического бега. Он боялся каторги. В одну из передышек нагнала Халиманко молва. Привез ее невзрачный охотник с бесцветными глазами на скуластом туберкулезном лице. Разрешив угостить себя разбавленной водкой, он с восторгом сообщил Халиманко, что Семку Выучея засадили, потому что Савонэ рассказала про все его дела. Савонэ, кроме того, рассказала русским начальникам про то, как Халиманко бил ее и бросил в тундре.

— ...Самый страшный начальник, милиционер, сказал всем, что теперь Халиманко никуда не убежит, все равно его поймают.

— Там деревянный чум выстроили — тебя да Семку судить,— сказал охотник с удовольствием и захрапел на шкурах у костра.

Халиманко с ненавистью посмотрел на охотника-молву и в бессильной злобе прибил Сэрню. Он схватил ее за косы, та упала на латы, и клок волос остался в руках Халиманко. Она долго кричала и билась головой о латы, пока не разбила лицо в кровь.

Халиманко испугался этого. Он схватил нож и пообещал прирезать ее. Сэрня забилась в припадке, и вторая жена, недавно ослепшая Степанида, терла ей лицо снегом, пока та не пришла в себя и не уснула.

Халиманко метался на своих нартах от стада к стаду, а в ночь, когда луна стояла над северными сопками, приказал повернуть стадо обратно на запад. Пастухи насторожились. Они видели, как покидает покорность молодую жену Халиманко. Когда хозяин был в стаде или шаманил в пармах соседей, отгоняя болезни от зырянских стад (шаманья сила Халиманко не знала национальных границ), Сэрня приходила в чумы батраков и говорила, что Халиманко сам бросил Савонэ на голову уголья.

— Разве он шаман? — все чаще и громче говорила Сэрня. И в доказательство своей правоты спрашивала:

— Почему все время пусты животы Халиманкиных жен? Какой он шаман после этого? Обманщик он.

Когда об этих разговорах узнал Халиманко, он старательно похлестал Сэрню тынзеем. Она каталась по чуму, окровавленная и страшная в своей ненависти, но он снова пообещал зарезать ее, и она затихла.

На пятнадцатую луну показались дымки фактории. Мимо Халиманкиных стад проехал рыжий плотник с тундровой девкой. Она со страхом поглядела на Халиманко и свернула оленью упряжку совсем в другую сторону.

— Дай мне веселую одежду,— сказал Сэрне Халиманко,— я поеду к русскому начальнику судиться с тобой. Ты мне сына рожать не хочешь. Пусть русские начальники засудят тебя за твои худые слова.

Сэрня засмеялась в ответ глухим, надломленным смехом.

Глава тринадцатая

Баня была выстроена на славу. Ее протапливали, но мыться в нее никто, кроме русских, не шел.

Лена попросила Ислантия помочь ей приучить ненцев к бане. Ислантий подумал час и сказал, в сомнении качая головой:

— Не пойдут.

— А ты еще подумай.

Он подумал сутки и сказал:

— Пойдут. Только чаю с печеньем дай малость.

Лена удивилась, но печенья и чаю дала. Ей потом пришлось удивиться еще сильнее. Семь охотников, дрожащих при слове «баня», пошли в нее. Там они сняли малицы, говоря:

— Жарко ведь, поп. Снимем?

— Снимайте,— сказал Ислантий и выбросил малицы в предбанник.

Но в меховых штанах им тоже показалось жарко. Они сняли и штаны.

— Ну, теперь выпьем для веселья,— сказал Ислантий, отворачивая кран своего самовара и наливая кружки.

Угостив всех досыта, он посоветовал всем побрызгать друг друга водой, потом вытереться заранее приготовленными полотенцами.

Охотники так и сделали, удивляясь, что все это называется баней.

Приехав на следующий раз с семьями, они сами попросили помыться. Все помылись с нескрываемым удовольствием, и это был праздник для Лены. Она угостила охотников густым чаем и белыми булками, а старушкам-сказочницам подарила по кумачовому платку.

Старушки вскоре отблагодарили Лену. Они рассказывали такие сказки про баню, что баня едва успевала всех обслуживать.

А утром судья пришел на факторию и спросил у Ислантия, где тундровичка, помогающая ему.

— В суде будешь работать? — спросил он.

Савонэ кивнула головой. Она прибрала шкуры на складе, а на следующее утро уже мыла полы в суде. Когда начался суд, судья посадил ее рядом и попросил переводить, что говорит шаман-подсудимый с Неруты, воровавший чужие капканы. Он оправдывался и клялся.

Судья спросил Савонэ:

— Правда это?

— Неправда,— ответила Савонэ.— Мой Халиманко богаче и то ворует,— пастухи вчера в складе говорили. Это злой шаман, начальник.

— Злой?

— Сильно злой,— сказала Савонэ.

— Ну, будет ласковее,— сказал судья.

— Суд удаляется на совещание,— объявил секретарь суда.

Глава четырнадцатая

Подъезжая к фактории, Халиманко подумал, что удобнее будет не показывать своего присутствия никому, кроме Савонэ. Она колола дрова. Остановив упряжку, Халиманко подождал за сараем, когда Ислантий удалится с охапкой поленьев, и с веселым видом подошел к первой жене:

— Здорово, старуха.

Савонэ вздрогнула и отскочила в сторону, подняв топор.

— Уйди, Халиманко!

— Зачем ругаться?

— Уйди!

— Глупая баба. Я мириться приехал, а она топор поднимает. Хорошо это?

Савонэ опустила топор и молча выслушала Халиманко.

— Виноват я перед тобой,— сказал он,— сильно виноват. Уголь упал — думаю, ты поганая. Мне изменила, потому бог сына или дочь не дал. Поехал горами, думаю опять — не виновата ты, зачем тебе изменять, когда три раза по десять лет прошло.

— Правда, я старуха, куда мне изменять, а детки сами не рожались. Я беда как хотела их.

— Мой шаманский род закончится мною, так Великий Нум говорит. Потому не дано мне мужиков иметь.

— И то, может, правда,— сказала Савонэ.

— Тяжело мне без тебя,— продолжал Халиманко.—

Сэрня меня всячески хулит, а Степанида ослепла, ничего не видит, ленива стала. Едем со мной.

— Нет,— отрицательно покачала головой Савонэ,— ты не бьешь собак, не бьешь олешек, и потому все побои падают на жен. Худо с тобой жить.

— Века так жили, — заискивающе сердечным тоном уговаривал Халиманко,— и мой отец, и мой дед всех жен и батраков били,— иначе как жить?.. Олень да собака — звери, они что понимают? Зачем же их бить? А жены да батраки — люди, зачем же сердят хозяина?

...Мы жили с тобой тридцать лет вместе, старуха... Наши стада стали самыми богатыми на Большой земле, и на Малой земле, и на острове Колгуев, и на острове Новая Земля. Кто богаче нас? Нет никого богаче нас. И если я тебя бил, то от чистого сердца, чтоб умнее была. Русские правду говорят, что за битого трех небитых дают.

...Ты у меня хорошая жена. Помнишь, как жили первый год? Стадо было маленькое — пятьсот олешек всего, а я еще не был шаманом. Помнишь, как мы вместе пасли стадо у Ядыр Су Виски и ты рассказывала про своего тунгуса и я все-таки не бил тебя. Помнишь?

— Помню,— сказала Савонэ,— я все хорошее помню.

— Поедем, будем жить, как тогда. Я не буду тебя бить,— запомни мое слово. А то живешь ты сейчас — вдова не вдова, а худая, поганая баба. Думай.

Савонэ закрыла лицо руками и села на дрова. Потом ушла на факторию. Надев малицу, она объяснила Ислантию, что уезжает в гости. Садясь на нарты, она сказала:

— Я уже старуха и привыкла к старой жизни, но бить будешь — уйду.

— Вот-вот,— обрадовался Халиманко,— тогда уйдешь.

И, свистнув на оленей, поехал от фактории.

— Праздник для тебя сделаю, старуха. Ха-арошпй праздник...

Глава пятнадцатая

Сэрня испугалась приезда Савонэ. За нюками слышна была ругань и крик Халиманко, отстегивающего упряжку.

— Савонэ, зачем ты приехала сюда?

Сэрня обняла старуху и заплакала.

— Я знала, что ты на фактории живешь хорошо, зачем же приехала? Зря приехала. Халиманко теперь нас будет еще сильнее бить.

— Он трус,— сказала Савонэ, сжимая губы и прислушиваясь к стону за занавеской.

— Ослепла Степанида, разум у нее как вода стал,— глухо сказала Сэрня.

Желтая и костлявая женщина показалась из-за занавески. Она подползла к ногам Савонэ и, ощупывая нервически подрагивающими пальцами платье, встала.

— Это Савонэ? — задумчиво спросила она.

Пальцы ее лихорадочно пробежали по лицу первой жены. Тот же прямой нос с маленькой горбинкой, слезящиеся глаза, шрам на щеке.

— Это ты, Савонэ?

— Я, Стеша.

Женщины обняли друг друга и заплакали.

— Что это за вой? — пошутил, входя в чум, Халиманко.— Звери воют, Савонэ, голодны, знать.

Женщины вздрогнули от этой шутки и смахнули слезы.

— Мужики олешек режут,— продолжал Халиманко.— Три ночи пить будем. Буран переждем, и к лесам ехать надо.

Женщины переглянулись и принялись за привычную работу. Батраки принесли сухого хворосту, Халиманко вытащил берестяное лукошко, похожее на объемистый сундук. В лукошке обложенные обрезками оленьих шкурок лежали бутылки со спиртом. У бутылок были черные сургучные головки. Халиманко, доставая бутылку, любовно обтирал с нее пот шершавой ладонью и ставил на место, перекладывая мхом. Обложив все двадцать бутылок, он достал одну и посмотрел сквозь нее на огонь. Спирт был чист, как первый весенний дождь. Даже сквозь пробку был слышен его волнующий запах.

Он попросил Сэрню притащить четверть, после чего вылил спирт в наполненную водой бутыль.

...Этот пир напомнил Савонэ свадьбу. Пастухи, празднично разодетые и веселые, сидели вокруг костра. Медные чаши, похожие на бубны шаманов, были полны дымящейся рыбой всех сортов. Желтели истекающие жиром мослы в котле. Пастухи брали их пальцами и, обмакнув в соль, звучно чавкали. Над всем этим возвышалась четверть, полная чудесной влаги, делающей жизнь не страшной.

— Пейте, пастухи! Пейте, жены! Пей, Савонэ! — широко разводя руками, говорил Халиманко.— Забудем старые обиды. Будем жить дружно, не ругаясь.

Пастухи охотно ели и пили. Женщины не отставали от них. Сэрня старалась огнем спирта прижечь неутихающую душевную боль. Она пила спирт, почти не прикасаясь к еде. Однако опьянение приходило медленно.

Халиманко пил мало, и Сэрня это заметила по тому, как он пил свою четвертую чашку. Сэрня тревожно подумала о причинах этого, но, опьянев наконец, запела какую-то тоскливую песню и уползла за занавеску.

Прислушиваясь к вою пурги, Халиманко ждал, когда все опьянеют. Наконец момент наступил. Женщины, мертвецки пьяные, лежали у занавески, обняв друг друга. Одна бормотала что-то, и плача и улыбаясь. Мужчины, покачивая головами, смотрели на огонь. Насупленным взглядом Халиманко обвел пастухов. Они еще могли стоять на ногах.

— Поели?

— Хорошо поели, хозяин.

Халиманко встал, и желваки вздулись на его щеках.

— Сейчас же сверните чумы. Будем ямдать за Камень.

— Злая погода, хозяин.

— Что? — спросил Халиманко и шагнул к костру.

Пастухи испуганно вскочили и один за другим выползли из чума.

Раздался детский плач. В хаосе ночи наощупь люди собирали и увязывали скарб, ломали чумы. Из стада пригнали ездовых оленей.

Последним ломали чум Халиманко. Уложили на семь нарт имущество тадибея и на самую последнюю упряжку двух жен его — пьяную Степаниду и Сэрню.

— А Савонэ куда, хозяин?

— Со мной. Двигай аргиш.

Под печальную песню колокольчиков и свист ветра аргиш двинулся в неизвестность. Последним на собачьей упряжке ехал Халиманко. Нарты его были пусты...

Когда няпой скрылся в темноте, Халиманко ощупью нашел место своего чума и спящую Савонэ. Он трижды пнул ей в лицо нерпичьим тобоком и, не услышав стона, погнал свою упряжку по аргишнице.

Он ехал в твердой уверенности больше не встретиться на земле со своей первой женой. Наконец-то он с ней рассчитался навсегда. Он пожалел только бутылку спирта, потому что в Архангельске она стоила тридцать четыре рубля, а здесь, в тундре, в пять раз дороже.

А пурга не стихала. Резкий морозный ветер и спирт делали смерть Савонэ легкой. Она уже чувствовала удушливое дыхание тундрового июля, крикливое великолепие озер, полных лебедей, гусей и уток. По оранжевой шкуре тундры прыгали с кочки на кочку белые куропатки и кричали странными, отрывистыми голосами.

Савонэ казалось, что она лежит на вершине горы и ей видны голубое, безоблачное небо и далекое зеленоватое море. Ей только неудобно лежать на боку, и она попыталась повернуться на спину. Это движение спасло ее.

Открывая глаза, она на мгновенье почувствовала боль. Опьяневшую голову тянуло к земле. Минуту Савонэ прислушивалась к ветру. Снег бил ее по лицу, попадал за пазуху, и это отрезвляло ее быстрее. Не чувствуя боли в ногах, она подумала, что они отморожены.

Невероятным усилием она повернулась на живот и поползла навстречу пурге.

Прошло много мучительных минут, прежде чем пальцам вернулась гибкость. И тогда страх овладел Савонэ.

Она никак не могла понять, каким образом очутилась здесь среди ветра и ночи. Ее воображение сейчас было занято неосознанным и тем острее чувствуемым страхом.

Она закричала о помощи, хотя и знала, что помощи ждать неоткуда. Так последние усилия довели ее до речки, по которой шла почтовая оленья дорога к фактории.

Она узнала дорогу по запаху навоза и клочкам сена.

Предсмертная теплота вновь овладела ею, но Савонэ ни за что не хотела поддаваться ее обманчивым видениям.

И она ползла вдоль дороги, на животе, на корточках, падая и задыхаясь...

В просторах ночи шатались широкие ветры всех тундр, пахло оленьими следами и далеким жильем. Савонэ отрезвела. Она сняла тобоки и липты и босиком пошла по мягкому снегу. Ноги обжигало морозом. Горячая кровь спустилась к пальцам. Савонэ вновь надела обувь и бодро зашагала дальше.

— Не уйдешь от меня, Халиманко, не уйдешь,— шептала она и с ненавистью смотрела вперед.

С горячей головой и разбитым в кровь лицом она вползла в чум какого-то охотника и в бреду кричала о Халиманко несколько суток подряд.

— Молчи, старуха,— говорил ей молодой хозяин с расцарапанной медведем щекой,— Халиманко побежал в Сибирь, но от нас он не убежит. У меня хорошие собаки.

Глава шестнадцатая

А из чума Халиманко все чаще и чаще стала выбегать окровавленная Сэрня. Она все еще не сдавалась, но начала уже заикаться и терять память. На ум приходили нехорошие мысли, но пастухи ее отговаривали.

— Уйди лучше от него, сразу пропадет его шаманская сила, и никто не освободит ему место у костра, и мы бросим стадо, потому что тадебции не будут слушаться его, и он будет простым человеком.

— Он убьет меня.

— Тогда его засудят, и мы пойдем в свидетели.

Халиманко пристрастился к спирту. Лихие разговоры догнали его стада: Савонэ жива и едет с милиционерами его арестовать. Он даже сон видел: тридцать милиционеров, сверкая саблями и винтовками, подъехали к его чуму и тяжелыми железными цепями опутали его руки, ноги и шею. Он матерился и просил везти его так, но подошла Савонэ и приказала заткнуть его рот вонючей шерстью и еще крепче связать.

Перегнав стада за Урал, Халиманко радостно вздохнул. Он даже не прибил Сэрню за то, что она намекнула ему об убийстве Савонэ. Он взял с собой спирта, старательно разбавив его, и уехал в гости к тунгусскому шаману Яртэко — своему старому другу. Садясь на нарты, он крикнул на прощание:

— Тадебции сказали мне ночесь, что ты хочешь уйти из моего чума. Я им приказал задушить тебя на второй же сопке от пармы.

Сэрня засмеялась в ответ, и от этого смеха Халиманко на мгновение стало жутко. Он не слез с нарт, чтобы проучить наглую жену. «Завтра успею»,— решил он.

Глава семнадцатая

В ночь после отъезда Халиманко в гости Сэрня не спала. Ею вновь овладели нехорошие мысли. Из деревянного лукошка, в котором лежали порох, патроны, свинец, она достала фунтовый мешочек стрихнина. Развязав его, она долго выбирала подходящий по размеру грязновато-дымчатый кристалл. Поднесла его к костру. Из бутылки налила в стакан неразбавленного спирта и опустила кристалл. Он оказался настолько большим, что треть спирта из стакана пролилась и сбежала тоненькой струйкой по латам в костер. Спирт вспыхнул голубым огоньком. Огонек синей бечевкой побежал на доски вокруг костра. Женщина потушила его и палочкой стала размешивать жидкость.

Почуяв запах спирта, к костру подползла Степанида.

— Дай мне,— попросила она жадно, протягивая руки над костром.

— Нельзя,— сказала Сэрня,— не надо, Стеша.

— Дай мне,— настойчиво повторила женщина, отдергивая обожженные огнем руки.

Сэрня долгим взглядом посмотрела на слепую и вновь ответила:

— Нет. Ты можешь еще жить, ведь ты слепая. Он тебя хоть маленько да жалеет.

Степанида нехорошо выругалась и уползла за занавеску.

Еще раз помешав палочкой в стакане, Сэрня посмотрела на огонь и поднесла стакан к губам...

Резкий крик за чумом удивил ее. Поставив невыпитый стакан на латы, женщина стала прислушиваться. В чум вползли двое. Молодой охотник, в чуме которого когда-то останавливался Халиманко, а за ним Савонэ.

— Савонэ!

— Я, Сэрня,— сказала женщина и посмотрела на стакан и мешочек стрихнина.

Стрихнинная пыль белым налетом покрыла латы вокруг стакана.

— Собирайтесь,— сказал охотник, с удивлением глядя, как Савонэ сдувает в огонь пыль с лат, прячет мешочек и ставит стакан на разостланную скатерть...

Глава восемнадцатая

В течение получаса женщины увязали свою одежду на хозяйских нартах. Пастухи охотно помогли им в этом. Сэрня хотела забрать все домашнее имущество Халиманко, но Савонэ сказала, что не надо пачкать хозяйским дерьмом свои руки. Пусть Сэрня и Степанида возьмут только то, что у них было раньше. Они настолько богаты будущим, что не надо плакать о прошлом.

Увязав все, женщины сели, и маленький аргиш весело помчался на юг, к фактории, к новой жизни.

— Мы скоро увидим вас,— сказали пастухи,— нам нечего теперь делать с Халиманкой.

— Ничего не трогайте в чуме, пока не вернется сам,— сказала Савонэ, сидя на передовой нарте,— мы с ним тоже, верно, встретимся на фактории...

Пастухи боязливо посмотрели на чум тадибея и отошли в сторону.

А в чуме весело горел костер, и блики огня сверкали алым и оранжевым светом на стакане, полном спирта, ожидающем своего могущественного хозяина...

◆ РАССКАЗЫ ◆

ТЭНЭКО

Оленья упряжка уносила Тэнэко по синим и звонким снегам на север, к родным стойбищам.

Покачивая тонким шестом над рогами передового, Тэнэко счастливыми глазами обводил горизонт и вспоминал все, что он пережил за эти три года...

Он многое теперь узнал.

Он научился в совпартшколе грамоте, был принят в комсомол и судился с Выль Пашем — своим бывшим хозяином.

Теперь Тэнэко едет в родное стойбище агитатором.

В окружном комитете комсомола сказали, что ему поручена трудная работа. Многооленщики ненавидят Советскую власть, и ему следует быть осторожным.

Но Тэнэко сказал:

— Я возьму оружие, и они побоятся одного моего взгляда. А если я буду убит, вы похороните меня на берегу моря, поставьте над могилой большой красный флаг и в руки положите книгу, которой я был премирован в школе...

Окружкомовцы сердечно простились с Тэнэко и пожелали ему удачи. В милиции он получил для личной охраны старый смит-вессон с тремя патронами в барабане.

Тэнэко сразу же надел оружие через плечо и так прошелся по городу. Странно, что никто не обращал на это внимания. Никого не удивило это. Тогда он простился с друзьями.

— До свидания, ребята,— говорил он,— еду организовывать колхозы.— Может, никогда больше не увидимся, ведь я еду организовывать колхозы.

Товарищи сердечно жали ему руки, дарили на память красочные плакаты, лубочные картинки, а директор окружного музея достал из груды папок портрет Григория Хатанзейского и сказал:

— Будь таким же смелым агитатором, каким был этот человек!

И теперь вот едет Тэнэко, покачивая хореем, покрикивает на оленей и мечтает о том, сколько богатых колхозов он организует в эту зиму. Сначала он поедет в стойбище Выль Паша и скажет всем его батракам: «Идите в колхозы! Там вы будете носить хорошую одежду и обувь. Вы будете есть белый хлеб каждый день». Батраки подумают дня три, а потом сразу запишутся в колхоз. Тэнэко поедет по другим стойбищам, покажет всем плакаты о том, как живут в хороших колхозах русские, и за зиму на всей Большой земле ненцы станут колхозниками, а кулаки, вроде Выль Паша, помрут с голоду.

Между тем молва неслась от чума к чуму, как на бешеных собаках. Ее перехватывали друг у друга степенные пастухи, веселые, хвастливые охотники, напуганные коллективизацией кулаки.

Молва говорила о том, что Тэнэко, батрак Выль Паша, после того как нашел в тундре много денег, отвез их в Красный город и выучился на очень большого начальника, теперь едет сделать всю тундру колхозной и что в каждом колхозе будет баня и всех ненцев заставят мыться в ней, точно они маленькие дети.

Солнце, как ожиревший белый медведь, выползает из-за гор. По вершинам сопок бегут лиловые тени, а в оврагах уже отстаивается мрак, неуверенный и рваный. За далекими холмами, как раз против того места, откуда поднялось сонное ноябрьское солнце, раздвинув кусты, поднимался к небу тонкий дымок. Парма Выль Паша была близка.

Тэнэко остановил упряжку, прикрутил вожжу к нартам и отвязал чемодан. Он вытащил из него кожаные брюки и хромовые сапоги с галошами, а потом снял малицу и на обжигающем морозе вместо теплых тобоков натянул на ноги городскую обувь и, как у настоящего начальника, кожаные брюки. Мороз точно жестью стянул его ноги. В кожаных брюках было чертовски холодно, но Тэнэко улыбался, думая о том, с каким удивлением и завистью посмотрят на него сверстники.

Северный ветер прогнал с его лица улыбку. Он пробовал бежать рядом с нартами, потом в жаркой малице, но

ноги, точно чужие, перестали его слушаться. Тэнэко пожалел, что надел городское, но в долине показалось несколько чумов, и он подъехал к среднему.

Стиснув зубы, чтобы не дрожать, он вошел в чум.

Весело поздоровался с хозяином чума. Тот быстро говорил:

— Проходите, проходите, гостем будете,— и посмотрел на белобрысую дочь.

Девушка тотчас же притащила охапку хвороста, повесила чайник на крюк, и, когда палевое пламя стало облизывать потные бока чайника, хозяин успокоился. Он долго восклицал: «Вот беда, вот беда!», когда узнал, что это Тэнэко, а потом побежал в соседние чумы. Он вернулся в сопровождении семи пастухов и Выль Паша.

— Здравствуй, Тэнэко,— сказал тот почтительно и первый протянул ему руку.

Тэнэко подумал немного и сказал с достоинством:

— Здравствуй.

И пока пастухи разглядывали его кожаные брюки, хромовые сапоги и галоши — все, что пришлось снять, дрожа от озноба, он достал со дна чемодана портрет Григория Хатанзейского.

Хозяин чума поднес ему кружку обжигающего чаю и толстый хвост очищенной от чешуи пеляди.

— Поешь маленько,— сказал он,— мы давно ждем тебя, ты теперь большой начальник стал, Тэнэко. Так мой ум ходит.

— Какой я большой начальник?! — смеется Тэнэко, а рябое лицо его расплывается в довольную улыбку. Потом он снимает с малицы смит-вессон и небрежно бросает его в чемодан, затем перекладывает на доски у костра.

— Коммунистом стал! — поднимает многозначительно палец Выль Паш.— Во!

— Какой я коммунист! Мне еще рано,— отвечает Тэнэко и долго роется за пазухой.

Из грудного кармана пиджака он вынимает комсомольский билет, с нежностью смотрит на маленький силуэт Ильича и сдержанно говорит:

— Я только комсомолец.

— Он комсомолец! — с еще большим восторгом восклицает Выль Паш, и глаза его наполняются тревогой.— Все мои батраки хорошими людьми стали, но Тэнэко выше их всех!

В чум входит, прихрамывая на одну ногу, старый Вылко. Широкоскулое морщинистое лицо его подергивается

нервическим тиком. Глаза слезятся, точно он хочет заплакать, но боится показать это. Он долго смотрит на Тэнэко, а потом молча садится у самого костра. Все отводят взгляд от его наполненных горем и слезами глаз.

— Зачем ты приехал, Тэнэко? — спрашивает дрожащими губами старик.

Тэнэко выпивает кружку чая, закусывает рыбой и показывает всем портрет Григория Хатанзейского. На пастухов смотрит русский рабочий в косоворотке и шляпе, и только узкие раскосые глаза да широкие скулы говорят о том, что этот человек не чужой ненцам.

— Знаете ли вы, кто это? — спрашивает Тэнэко, и в голосе его звучит уважение к человеку на фотографии.— Это — Григорий Хатанзейский, первый ненец-коммунист. Его зарубили белогвардейцы за то, что он хотел, чтобы все пастухи были сыты, богаты и счастливы со дня рождения до начала смерти.

— Я знаю его,— говорит старый Вылко и утирает рукавом глаза,— я хорошо знаю его. Русский урядник искал его по всей тундре, но он спрятался у меня и рассказывал мне про то, как хорошо будет жить без царя и урядника. Он носил шляпу, но имел сердце пастуха.

— Говорил ли он о колхозе? — забеспокоился Выль Паш.— Хатанзей Гриша был хороший человек, но говорил ли он о колхозе?

Вылко не ответил. Он не слышал от Гриши ничего о колхозе.

— Он говорил о колхозе, раз говорил о счастье,— сказал в тишине Тэнэко и посмотрел внимательно в беспокойно поблескивающие глаза Выль Паша.

Тот опустил взгляд и отодвинулся от костра. Тэнэко продолжал:

— В первом ненецком колхозе «Пнок», где председатель Степанида Апицына, колхозники заработали за год по пять тысяч рублей, по многу пудов рыбы и мяса. В колхозе «Пнок» есть свой моторный бот, больница, школа и баня.

— Я вам говорил! — зловеще крикнул Выль Паш, и глаза его радостно блеснули.— Баня...

Тэнэко быстро повернул лицо к бывшему хозяину. Он закрыл чемодан и внимательно посмотрел на Выль Паша:

— Что ты говорил?

Выль Паш улыбнулся примиряюще и торопливо ответил:

— Баня — это очень хорошо.

Вылко протянул к костру подрагивающие руки, точно грел их у огня, посмотрел на ярко вспыхнувшую веточку, на пастухов и понюхал табаку:

— Я пойду в такой колхоз, где нет бани и есть хороший шаман.

— Зачем тебе шаман? — удивился Тэнэко.

— Скоро моя Няркоиэ умрет. У нее болит живот из-за худых ветров. Кто мне поможет?

— Да, кто ему поможет? — спросил Выль Паш.— Шаманы теперь боятся лечить. Кто злых тадебциев отгонит? Русских тадебции не боятся, правду я говорю?

Хмурые пастухи утвердительно закивали головами.

— Колхозный врач вылечит твою семью, Вылко. Я прикажу ему вылечить твою жену.

И Тэнэко вновь открывает чемодан, достает блокнот, и, подержав острие химического карандаша на языке, долго думает о том, какую записку следует писать в подобных случаях. Пастухи пододвигаются к Тэнэко и, значительно хмурясь, смотрят на него.

Тэнэко шевелит губами, он вспоминает совпартшколу, окружной комитет комсомола, народного судью и не может придумать, как следует писать записку в правление колхоза, если ему, Тэнэко, нужен врач.

Он опускает ресницы: обмороженные пальцы, которыми он стискивает карандаш, белеют, он нажимает на блокнот, и острие карандаша ломается. Посмотрев на Выль Паша, Тэнэко просит чаю, не торопясь нюхает табак и старательно пишет записку печатными буквами:

«Степанида, здесь кулаки, врача надо, потому что у Няркоиэ живот нехороший. Тэнэко».

Смахнув со лба капельки пота, Тэнэко с гордостью смотрит на написанное им и добавляет:

«А у меня пальцы, и мне очень тяжело из-за Выль Паша. Тэнэко».

— Вот и все,— говорит он, обращаясь к Вылко.— По этой бумаге врач бросит все свои дела и приедет сюда, потому что он мой большой друг.

Старый Вылко долго смотрит на записку. Он берет ее дрожащими пальцами, складывает вдвое так осторожно, точно это не бумага, а тонкое стекло, готовое вот-вот хрустнуть. Потом выходит из чума, и через полчаса слышно, как он уезжает на восток.

Пастухи тоже выходят из чума, приглашают Тэнэко в гости, просят не обижаться на них, если они не вступят в колхоз. Тэнэко говорит «ладно», при свете костра хмуро

вынимает из чемодана плакат, долго рассматривает его. Пальцы ноют, а голова начинает кружиться.

— Надо спать, надо спать,— шепчет Тэнэко и стискивает зубы.

Он, точно заклинание, повторяет эти слова, но чем больше темнеет небо в мокодане, куда сизой спиралью уходит дым костра, тем тяжелее становятся веки и сильнее кружится голова.

Чтобы заглушить боль, Тэнэко прислушивается к треску догорающего хвороста. Сквозь шкуры, покрывающие чум, слышен заглушенный крик больной женщины, и Тэнэко на время забывает о своей болезни.

«Ей, верно, очень тяжело»,— с участием думает Тэнэко и, откинув с колен одеяло, в одной рубашке выходит на мороз. В синеве наступающей ночи он видит, как у соседнего чума испуганно-торопливо разговаривают пастухи. Они смотрят на сопку и на крайний высокий чум. Они почтительно уступают дорогу Выль Пашу, когда тот выходит из этого чума, размахивая сверкающим при луне ножом.

Тэнэко с удивлением наблюдает, как многооленщик прикладывается правой щекой к чуму Вылко, обходит его дважды, а потом резким взмахом руки протыкает ножом нюк. Снежная пыль серебром осыпает рукава его малицы. Выль Паш вырезает ножом треугольное отверстие и отшатывается от истерического вскрика больной женщины.

— Она сейчас умрет,— ворчит старик,— помогите мне.

И, не дожидаясь помощи, схватив за цепенеющие в страхе черные худые руки Нярконэ, выдергивает ее из чума.

Пастухи испуганно подходят к нему и неуклюже берут женщину за ноги. Она бьет ими по снегу и кричит, объятая страхом смерти.

Тэнэко вздрагивает от ужаса. Он подбегает к Выль Пашу, и тот сразу отпускает руки больной.

— Она опоганит стойбище смертью,— говорит Выль Паш и пятится, не отводя взгляда от правой руки Тэнэко.

— Отнесите ее ко мне. Скоро приедет врач,— сердито приказывает Тэнэко и с удивлением замечает смит-вессон в своей руке.— В колхозе никогда так с женщинами не обращаются.

Больную уносят в чум, заткнув шкурой вырезанное отверстие. Она бредит и корчится, освещаемая слабым огнем костра.

— Потерпи маленько,— говорит Тэнэко и проводит ладонью по ее жаркому морщинистому лбу.

Через полчаса женщина успокаивается, и его вновь начинает лихорадить. Тэнэко достает из чемодана плакаты и входит в соседний чум, полный пастухов и охотников, сердито спорящих о чем-то.

Увидев Тэнэко, они замолкают. Они со страхом глядят на Тэнэко, а тот болезненно улыбается и вынимает из-под мышки плакат, на котором нарисован тощий мужик в лаптях, стоящий на одной ноге.

— Смотрите,— говорит Тэнэко.

Белобрысый сгорбившийся пастух с черными глазами и кривым носом смотрит на картину и сочувствует старику:

— Вот беда! Зачем он на одной ноге-то стоит? Устанет ведь.

Другие пастухи тоже жалеют мужика, лапти которого окружены изгородью.

— Пошто это, парень?

— Это русский мужик,— говорит Тэнэко,— он стоит на одной ноге, потому что вторую ногу ему негде поставить: вся земля у кулаков, помещиков и русских шаманов — попов. Вот как жили при царе русские мужики, которые делали хлеб.

— Им тяжело было,— вздохнул белобрысый пастух.— Олешек там нет, а земли мало — вот и стой на одной ноге. Худо так!

— Беда худо,— покачали головами пастухи,— без олешек как проживешь?

Тэнэко вынимает новый плакат, и лица пастухов разглаживаются от морщин. По широкой зеленой улице идут малыши в красных галстуках. Налево стоят большие красивые здания школы, яслей, клуба, кооператива, электростанции.

— А вот как живут теперь эти мужики.

И пастухи восхищаются тем, что колхозники одеты, как Тэнэко, в городские пиджаки, обуты, как Тэнэко, в сапоги, и лица их веселы и приветливы.

— Хорошо живут,— говорит белобрысый пастух.— Ты колхозник, Тэнэко?

— Нет,— говорит Тэнэко,— но я буду колхозником, если вы пойдете вместе со мной в колхоз.

— Я бы пошел в колхоз, если бы там давали всем кожаные штаны, такие, как у тебя. Потом я люблю ездить в гости, а колхозу, поди, не понравится это.

— Колхозники такие же люди, как все,— говорит Тэнэко,— они тоже могут носить кожаные штаны и ездить в гости, когда им захочется.

— Что такое колхоз? — хмуро спрашивает пастух с черным, обмороженным лицом, пододвигаясь к костру.— Что такое колхоз! Молва говорит: колхоз — это большие стада, богатые пастбища и вместо оленей и пушнины у пастухов и охотников пустые, никому не нужные бумажки, что они колхозники. На что же я куплю себе нюхательного табаку, Тэнэко? В колхозе олений врач впустит всем олешкам под кожу белую воду, которая называется «прививка», мясо их нельзя будет есть по пять лет. Кто же нас прокормит столь долго?

— Кто это вам сказал? — спрашивает Тэнэко и трет жесткими ладонями виски, где глухо толчется кровь, молоточком отдаваясь в ушах. Почему ты, Егор Иванович, только худую молву слышишь? Правда, ты живешь в чуме Выль Паша, но почему ты веришь только молве из его уст? Он — твой хозяин. Он не хочет отпустить тебя в колхоз, и он лает на нашу будущую жизнь, как хитрая лисица.

— Выль Паш сегодня сказал мне, что в колхозе хорошо русским, у них нет олешек, а нам лучше жить без колхозов,— говорит белобрысый пастух.

— Это неправда. Какое богатство у тебя, Семен Ного? — спрашивает Тэнэко.— Пятнадцать олешек да патроны без пороха! Как ты проживешь зиму? А?

Пастух смущенно смотрит на товарищей. Те улыбаются. В самом деле, каким богатством хвастается Семка Ного...

И Тэнэко впервые замечает в глазах слушателей огонек доверчивости. Пастухи и охотники все больше и больше соглашаются с Тэнэко, потому что молва говорила им и хорошее о новой жизни.

— В колхозе вы будете носить по праздникам городскую одежду, слушать музыку и глядеть кинокартины. Когда же заболеете, вас будет лечить не грязный и хитрый шаман Яли, а врач из Москвы. Горе покинет ваши чумы, потому что вы будете богаче и счастливее Выль Паша. Давайте организуем колхоз и будем жить богато.

Тэнэко смотрит на пастухов, и те уже доверчиво кивают головами и говорят, что подумают об этом, но в это время входит пьяный Выль Паш. Маленькие, как у нерпы, глаза его красны и рот искривлен. Не торопясь он проходит к костру и говорит:

— Нет врача, Тэнэко... Нярконэ умирает. Шаман давно бы помог.

И пастухи мрачнеют под тяжелым взглядом Выль Па-

ша. Они не смотрят на Тэнэко и поодиночке, торопливо выходят из чума.

— Прими меня в колхоз,— говорит сочувственно Выль Паш,— они не понимают своего счастья.

Тэнэко подкидывает дров в потухающий костер, сжимает подрагивающие губы и, не ответив, выходит из чума.

Он идет в следующий чум, там его охотно слушают, спрашивают о жизни в городе, хвалят хромовые сапоги, просят показать картинку про мужика, стоящего на одной ноге, но в колхоз идти не хотят. Они говорят, что и раньше можно было стать богатым, как Выль Паш, и теперь можно быть бедным, как Вылко, если много болеть. Они смотрят на смит-вессон, лежащий на коленях Тэнэко, и спрашивают Выль Паша:

— Кто лучше, хозяин: врач или шаман?

И Выль Паш отвечает:

— Тэнэко, думаю, правду говорит — врач лучше, но пока он приедет, Нярконэ уже умрет, опоганит нашу парму, и нам придется бросить свои чумы, чтоб смерть не заглянула нам в глаза, не сделала нас навсегда несчастными.

— Врач приедет скоро,— говорит Тэнэко, и губы его дрожат, как у ребенка.

Простясь с пастухами, он уходит в свой чум и падает на шкуры, скрученный болезнью.

Ночью он начинает бредить. Тогда жаркими руками он разбрасывает шкуры и садится, ища огонек костра. Но костер потух, и Тэнэко с теплой грустью вспоминает совпартшколу, товарищей из окружного комитета комсомола, директора музея, ночные улицы города, и обида заполняет его сердце. Ему хочется заплакать, но, подумав о том, что он агитатор, Тэнэко вытирает глаза рукавом и с горечью думает о том, что ему не организовать колхоза, потому что он плохой комсомолец и Выль Паш сильнее его.

И, только когда в мокодан начинает пробиваться рассвет, Тэнэко забывается тяжелым сном.

Но тут приходит старый Вылко. Он жестикулирует и смеется. Он долго благодарит Тэнэко, потому что приехал врач и у Нярконэ живот стал хорошим. Вылко согласен идти в колхоз, если Тэнэко даст расписку, что в колхозе его не заставят мыться каждый день. Тэнэко долго обдумывает это предложение и считает возможным разрешить старому Вылко мыться только по одному разу в месяц, но обязательно париться веником, а его сыну Тыко — три раза в месяц, о чем и пишет расписку печатными вершковыми буквами.

Он дает такую же расписку еще двум пастухам и вновь ложится спать, но приходит белобрысый сгорбившийся пастух и говорит Тэнэко:

— Я не пойду в колхоз, потому что ты боишься нас. Ты носишь оружие, чтобы пастухи сразу вошли в колхоз. Я бы взял бумажку насчет бани, но я боюсь Выль Паша, потому что он злой человек.

— А ты не бойся,— говорит Тэнэко,— Выль Паш — хромой заяц, а я старый волк. Я сто кулаков могу убить одним взглядом, если рассержусь. Собери пастухов, и ты увидишь это.

Через полчаса Тэнэко выходит в кожаных брюках и начищенных ваксой хромовых сапогах. Он осматривает собравшихся оленеводов, вскакивает на нарты и начинает речь.

Он говорит:

— Подойди сюда, Выль Паш.

Испуганный многооленщик подходит, Тэнэко, заметив врача, улыбается ему и машет приветливо рукой, а потом сердито смотрит на Выль Паша:

— Выль Паш, ты не хочешь колхоза?

Многооленщик хмуро глядит на смит-вессон в руках Тэнэко и, пятясь, падает, запнувшись за чью-то ногу, но пастухи не смеются над этим.

— Когда я буду в Москве, я расскажу всем, какие злые дела ты делаешь, Выль Паш. Я все расскажу. А что я тебя не боюсь, пусть видят все.

И Тэнэко с размаху кидает смит-вессон в сугроб за чум.

И сразу же пропадает недоверчивость в глазах пастухов. Они подходят к Тэнэко и просят бумагу. На седой тетрадочной бумаге они ставят свои родовые клейма: рисунок оленьих рогов, чума, рыбы, тундровой кочки и говорят, сколько оленей они имеют.

Потом они долго думают, кого выбрать председателем колхоза, и белобрысый пастух предлагает Тэнэко, но Выль Паш с искаженным ненавистью лицом кричит:

— Всех олешек отдали колхозу? Всех? А Тэнэко ни одного не отдал. Он только у других выманивает.

Но Тэнэко смеется над ним. Он вынимает из кармана лиловую бумагу и просит хмурого врача прочесть ее всем вслух. Врач надевает очки, осматривает бумагу и читает приговор суда, по которому Тэнэко становится хозяином двухсот оленей, нарт и хорея,— всего, что он заработал, будучи батраком Выль Паша.

Пастухи подходят к нартам, и Выль Паш растерянно са-

дится у чума на желтый снег и закрывает глаза. Голова его кружится. Точно копыта по насту, звонко и тяжело отдаются слова Тэнэко в его ушах:

— Я тоже хочу быть колхозником вместе с вами.

Пастухи доверчивыми глазами смотрят на Тэнэко и так долго кричат его имя, что он говорит:

— Ладно. Пусть я буду первый председатель первого колхоза на Большой земле.

А из-за чума появляется Вылко, и в руках его смит-вессон. Он передает его Тэнэко и говорит:

— Возьми. А мы тебя не боимся. Возьми, мало ли худых людей на свете, пригодится.

И пастухи утвердительно кивают Тэнэко.

Ночью пастухи выполнили приговор суда. Длинными тынзеями они выловили из стада Выль Паша двести лучших оленей и согнали их в большое колхозное стадо. Выль Паш не мешал им. Чтоб легче перенести горе, он вернулся в свой чум и выпил три кружки спирта, достав его из своего заветного сундучка. Когда на душе стало хорошо, он занялся поисками ножа. Найдя его, он долго обдумывал план мести, но, вспомнив, что Тэнэко больной и с ним справиться легко, он тихо вышел из своего чума, посмотрел на стоящих у озера пастухов и вполз в чум Тэнэко.

Тэнэко приподнялся со шкур, подбросил хворосту в костер и, посмотрев на Выль Паша, сказал тихо:

— Брось нож!

Выль Паш невинно улыбнулся, обнажив прокуренные зубы.

Тэнэко сел и уже сердито сказал:

— Брось нож! Нечего прятать за спиной.

Потом мечтательно проговорил, точно не замечая многооленщика:

— Мы назовем наш колхоз «Нгер Нумгы». Это она указывает дорогу пастухам и охотникам в тундре. Это счастливая звезда. Пусть наш колхоз будет новой звездой, которая указывает всем дорогу к хорошей жизни.

Выль Паш, равнодушно разглядывая костер, пододвигается к Тэнэко на полшага.

— Когда у меня перестанет кружиться голова, я поеду дальше по всей тундре и организую много таких колхозов, и тогда ты задохнешься от злобы, Выль Паш. Брось сейчас же нож! — говорит Тэнэко, и щеки его багровеют.

Выль Паш стремительно вскакивает, пламя костра

вспыхивает на лезвии длинного узкого ножа и гаснет. В лицо многооленщика смотрит холодным глазом дуло смит-вессона.

Выль Паш роняет нож и торопливо выползает из чума.

— Ну и вот,— говорит Тэнэко и смеется довольным мальчишеским смехом.

ИЛЬКО ЛАПТАНДЕР

Илько Лаптандер угрюмо всматривается в горизонт, и голова его кружится от усталости. Лесная поземка снежным туманом окутала кусты тундрового тальника. Звезды стали бледнеть. Собаки, боязливо поджав хвосты, обегают стадо и катаются в снегу, тревожно повизгивая.

«Погода будет»,— устало думает Илько Лаптандер и проводит рукавом малицы по редкой заиндевевшей бородке.

Вчера уехал из стада второй пастух, заболевший ангиной, и ему — старшему бригадиру — приходится несколько суток без сна оберегать большое стадо от волков, бурана, гололедицы. Силы его уже иссякли.

А ведь на слете стахановцев оленеводства он от имени своей бригады дал обещание всем пастухам Большой и Малой земли не иметь ни одной потери в своем стаде. Если он не сдержит своего слова, над ним будут смеяться самые последние лодыри. Но всего больше худой молвы пустит Выль Паш — его бывший хозяин.

— Ха! — скажет он.— Хорошо олешек пасти начали. Быстро-быстро начал колхоз богатеть, а все потому, что в нем состоят хорошие пастухи, такие, как Илько Лаптандер. Осталось ли хоть что-нибудь от колхозных богатств Илько Лаптандеру?

Думая об этом, Илько обливается холодным потом. С усилием он поднимает скованные дремотой веки и шарит винтовку, вглядываясь в кусты.

— Нябик! — хрипит он, но собака лежит у его нарт, и Илько успокаивается.

Веки старого пастуха снова тяжелеют. От горизонта поднимается тундровый буран. Ветер отворачивает полы Илькиной малицы, порошит снегом в лицо, ерошит шерсть на загривках собак. Олени сбиваются кучей, пропуская в середину телят.

«Засну»,— тревожно думает Илько. Его охватывает страх. Он трет лицо снегом и достает табакерку, чтобы по-

нюхать табаку, но собаки начинают скулить. Они скулят все сильнее и сильнее, и Илько вглядывается в кусты. Луна, выглянувшая на мгновение, освещает три тени, стелющиеся по снежной прогалине.

Илько прикладывает ложе винтовки к плечу и наугад стреляет. Собаки со злобным воем мчатся к кустам, олени опускают головы, разрывают ягель.

«Хорошо бы лечь в сугроб и заснуть»,— думает Илько. Снег пахнет оленьими следами и мхом.

Но снова лают собаки, Илько хватается за винтовку и подъезжает к стаду.

Олени спокойны, собаки с четырех сторон сторожат их.

Голова Илько кружится, точно ее подхватило ледяным водоворотом, туго сжимающим со всех сторон. Илько закрывает глаза, и соблазнительная мысль прокрадывается в его сознание: никто ведь не будет ругаться за то, что он сильно заболел. Охранять стадо ему помогают четыре хорошие собаки. Если он крепко заснет, то они разбудят его своим лаем.

— Нет, нельзя! — говорит убежденно Илько.— Ни одного олешка зверю!

Чтобы отогнать сон, Илько нюхает табак и сердито ругается.

«Скоро утро,— думает он уже спокойнее,— тогда можно будет немного поспать».

Он ложится навзничь на нарты и долго размышляет, как будут хвалить его бригаду за то, что ни одного олешка не прокараулила за целый год.

Сам того не замечая, старый пастух засыпает, и хорей вываливается из его рук.

Но и во сне Илько продолжает бороться с непреодолимой усталостью. Много раз, как ему кажется, он стряхивает с себя дремоту. И внезапно стая громадных волков бесшумно появляется возле оленьего стада; Илько холодеет от ужаса, заметив вожака волчьей стаи. У вожака туловище волка, а голова Выль Паша.

— Съедим Илькино стадо,— говорит Выль Паш волкам.

— Съедим,— хором отвечают волки.

— Подождите,— говорит Выль Паш и подходит к Илько.— Пойдешь ко мне в батраки, Лаптандер, тогда я стадо не буду есть, и ты будешь каждый год получать у меня за работу по три важенки.

— Нет,— отвечает Илько, —в прошлом году мне колхоз дал премию — двадцать олешков. В колхозе я заработал пять раз по тысяче рублей да бинокль в придачу. Не пой-

ду к тебе, Выль Паш, потому что ты кулак, а я теперь большой начальник, старший бригадир.

— Вы слышали? — говорит Выль Паш волкам.

— Слышали,— отвечают волки человеческими голосами.— Мы сейчас убьем его.

Илько хватает винтовку, стреляет в Выль Паша и волков, но пули не приносят им вреда. Волки смеются над Илько и перегрызают горло оленям — одному за другим.

— Тебя будут судить страшным судом! — кричит пастух Выль Пашу.

Но тот, подбежав к нартам, сбивает Илько на снег. Он кладет передние лапы на грудь Илько и скалит свои желтые волчьи зубы:

— Ха, колхозный ударник! Где ж твоя сила, олений начальник? Покажи мне свое горло...

Выль Паш стискивает до удушья горло Илько. Илько хрипит, поднимается и открывает глаза: он — один, в пустоте большой снежной низины. Пес Нябик, скуля, дергает его за полу малицы. Ни нарт, ни винтовки нет.

Поземка замела следы стада...

Задыхаясь, старый пастух спешит за собакой. Он хватается за грудь, падает, вновь поднимается и бежит.

Стада нет...

Но Нябик визжит и рвется вперед, на крутую сопку. Собрав последние остатки сил, Илько взбирается наверх и видит в долине стадо и свою упряжку. Он сходит вниз и останавливается, вновь охваченный ужасом: у кустов тальника лежат две важенки, растерзанные волками.

Илько долго сидит на нартах, руки его дрожат, и медленные слезы обиды застилают его глаза.

Через полчаса он подгоняет колхозное стадо к своему чуму. Вот его собственные олени. С каким трудом он растил их. И как радовался в тот день, когда колхоз премировал его. Сейчас Илько молча и сосредоточенно выбирает в своем маленьком стаде двух лучших важенок. Прислонив одну из них к нартам, он вырезает на ее ухе колхозное клеймо.

— Сам виноват,— шепчет он и нежно гладит по лбу важенку, которая по его воле стала теперь колхозной.

Едва успев заклеймить вторую, он слышит скрип саней и знакомый голос председателя колхоза:

— Как дела, Илья Семенович?

— Хорошо,— говорит Илько.— Очень хорошо, только я сильно заболел.— И добавляет: — Устал я. Переведи меня просто в пастухи. У меня голова худая. Кружится.

— Ничего,— говорит председатель и тепло улыбается, заметив, как клонится к нартам охваченная непреодолимым сном седая голова Илько Лаптандера.

ГОРЯЩЕЕ СЕРДЦЕ ДАНКО

Широкоскулый и черноглазый ненецкий мальчик, Сема Лаптандер, был счастлив оттого, что на земле есть две чудесные вещи — сказки слепой бабушки Няртконэ и клыки моржа, из которых можно вырезать столько занимательных фигурок, что мир сразу становится намного интереснее.

Русская учителка Тоня Ковылева тоже любила сказки. Сема Лаптандер сам слышал это от своих друзей. Когда кончались в Красном чуме уроки с неграмотными, учителка собирала ребят у лампы-молнии, подолгу рассказывала им сказки. Только у нее, по мнению Семы, была, очевидно, худая память. Она могла рассказывать сказки только с книжкой. Она именно рассказывала их, а не пела, как бабушка Нярконэ.

Сема был еще мал. Он был так мал, что успел изучить за свою жизнь хорошо только три буквы алфавита, и в Красном чуме ему еще рано было учиться.

Но Сема любил сказки.

После занятий он вместе с друзьями пришел к русской учительнице и, садясь на пол, сказал с достоинством и серьезностью:

— Сказку слушать пришел. Расскажи.

И учителка сказала:

— Ладно.

Она завела патефон, показала радио, а когда совсем стемнело и в Красном чуме стало жарко от дыхания детворы, пришедшей слушать сказки, она взяла книжку и села на кровать, заменявшую ей и скамью, и кресло, и стул.

Она села на кровать и начала сказку.

Это была такая сказка, что вся земля, весь мир в представлении маленького Семки так чудесно изменился, что у него от восхищения стеснило даже дыхание, а широко оттопыренные уши порозовели и стали горячими.

Немигающими глазами, затаив дыхание, боясь пропустить хотя бы одно слово сказки, слушал ее Семка, и в эти минуты он уже был не маленьким пастушонком Семкой, а гордым и смелым героем чудесной сказки. Он шел

вместе с ним сквозь мрак и горе, и недетские слезы застилали ему глаза.

А русская учителка тихим и немного печальным голосом читала сказку. И чем дальше она читала, тем плавнее и печальнее становился ее голос, почти переходя в песню.

— «А лес все пел свою мрачную песню,— читала девушка,— и гром гремел, и лил дождь...

— Что сделаю я для людей? — сильнее грома крикнул Данко.

И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее сердце и высоко поднял его над головой.

Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям, а тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, пала в гнилой зев болота. Люди же, изумленные, стали как камни.

— Идем! — крикнул Данко и бросился вперед на свое место, высоко держа горящее сердце и освещая им путь людям.

Они бросились за ним, очарованные. Тогда лес снова зашумел, удивленно качая вершинами, но его шум был заглушен топотом бегущих людей. Все бежали быстро и смело, увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца. И теперь гибли, но гибли без жалоб и слез. А Данко все был впереди, и сердце его все пылало, пылало!

И вот вдруг лес расступился перед ним, расступился и остался сзади, плотный и немой, а Данко и все те люди сразу окунулись в море солнечного света и чистого воздуха, промытого дождем. Гроза была — там, сзади них, над лесом, а тут сияло солнце, вздыхала степь, блестела трава в брильянтах дождя и золотом сверкала река... Был вечер, и от лучей заката река казалась красной, как та кровь, что била горячей струей из разорванной груди Данко.

Кинул взор вперед себя на ширь степи гордый смельчак Данко,— кинул он радостный взор на свободную землю и засмеялся гордо. А потом упал и — умер.

Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его и не видели, что еще пылает рядом с трупом Данко его смелое сердце. Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой... И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло...»

— Вот и вся сказка, ребята,— сказала учителка и поразилась выражению детских лиц и затуманенному горем взгляду Семы Лаптандера, самого меньшего из слушавших сказку.

— Да вы, никак, плакать готовы? — улыбнулась она своими серыми и усталыми глазами.

— Нам очень обидно,— сказал Сема Лаптандер, и долгое молчание заполнило Красный чум.

Дети думали. И в эти мгновения грустной тишины им казалось: откуда-то издалека-издалека шел Данко, подняв высоко над собой горящее сердце, как факел. Он шел, озаряя землю, и люди, плачущие от счастья, бежали за ним. «И кто знает,— думал Сема Лаптандер,— солнце, может быть, это и есть горящее сердце Данко, хотя в сказке про это и не поется».

И он посмотрел в целлулоидное оконце Красного чума. Солнечный лучик прыгнул на кончик его веснушчатого носа, и Сема зажмурил глаза и обернулся к товарищам. Широкие уши его, просвеченные солнцем, стали нежно-розовыми, как мартовская заря.

Сема открыл глаза и, кивнув головой на солнце, убежденно сказал:

— Это — горящее сердце Данко! Видите, как оно горит над землей!

И, обращаясь к русской учителке, попросил:

— Спой нам еще такую же сказку этого человека.

Но учителка отрицательно покачала головой. Она сказала, что на ненецкий язык переведена только одна сказка Горького и что завтра уроки, а она еще не спала.

— Жалко,— сказал Сема,— нам очень обидно, что нет больше таких сказок. Я бы сам съездил за ними к нему, если бы был большой.

— Можно и не ездить,— сказала учителка,— если ему написать хорошее письмо, то он сам целый аргиш сказок тебе, Сема, пришлет.

Легкие морщинки собрались на лбу Семы Лаптандера. Он улыбнулся, но через минуту лицо его стало хмурым и печальным.

— Я знаю только три буквы, учителка,— сказал он в унынии,— я знаю букву «а», букву «м», букву «ы» и совсем немного букву «т». Из них я могу составить слово «мама» и «ты», что по-русски означает «олешек». Я уже много знаю, но письмо мне трудно писать.

Сема Лаптандер подумал, вновь посмотрел на солнце, и ему стало грустно.

Он поднялся и пошел к выходу. У выхода он посмотрел на товарищей и с неожиданной убежденностью сказал:

— И все-таки я напишу это письмо. По-своему, своими руками.

— Я тебе могу помочь,— сказала учителка.

Мальчик снисходительно улыбнулся.

— Нет,— сказал он,— ты не сможешь мне помочь, хабеня. Я бы очень хотел, чтобы мне помогли, но никто не сможет мне помочь в этом...

Он вышел из Красного чума.

Илько Лаптандер — отец Семы — вернулся с дежурства на рассвете.

Семка спал на шкурах, разметав руки и бормоча во сне. Илько наклонился над ним и с нежностью стал рассматривать его веснушчатое лицо, руки, еще не огрубевшие от работы, пухлые губы, влажные от сна.

— Вставай, нерпеныш,— сказал он, бережно тронув плечо сына узловатыми, негнущимися пальцами,— вставай, сынок, солнце взошло.

Мальчик торопливо поднялся и покрасневшими глазами посмотрел на откинутую шкуру у входа. Он увидел солнце.

— Это — горящее сердце Данко,— сказал он тихо и вновь лег спать.

— Вставай, лодырь,— усмехнулся Илько,— опять сказок наслушался.

— А ты — темная ночь,— сказал Семка, погружаясь в дремоту,— тебя надо вывести в степь, чтобы ты там увидел солнце.

— Ишь ты! — озадаченно сказал Илько Лаптандер, и, успокоившись на том, что ему все равно не понять, на что намекает сын, он попил теплого чаю и тоже заснул.

Проснулся он от сухого звука маленькой пилы; он приподнялся и в немом удивлении посмотрел на сына. Семка распиливал пополам большой бивень моржа.

«Игрушки делает»,— успокоился Илько, и гордая улыбка надолго тронула его губы.

Кто в стойбище мог поспорить в мастерстве с его сыном!

Из любой кости Семка умел вырезать такого человечка, что даже ребенок мог сказать, что этот человечек думает и чем занимается. Однажды Семка вырезал из корня тундровой березки болванчика с шаманьим бубном и таким лицом, что все пастухи сказали: «Это Халиманко».

Когда об этом узнал Халиманко — черный шаман с реки Неруты, самый злой и сильный шаман и великих и малых тундр,— он сам приехал в стойбище к Илько Лаптандеру.

Он обвел нелюдимым взглядом болванчика и сказал Илько:

— Твоего сына надо придушить. Он злой человек. Он смеется над старшими, надо мною.

И Халиманко бросил в огонь деревянного болванчика.

«Теперь Семка задумал, очевидно, еще что-то. Ну и пусть делает. Худа от этого никому нет, а для ребенка радость,— думал Илько,— к тому же вечно занятый ребенок будет любить труд и вырастет хорошим оленщиком».

И, чтобы сын не чувствовал недостатка в инструменте, Илько достал из своего заветного сундучка маленький буравчик, молоток и стамеску.

— Делай,— сказал он,— только не торопись. Никогда не надо спешить, дольше век будет,— сказал он и, позавтракав, вновь уехал в стадо, за которое он отвечал как колхозный бригадир.

Распилив клык вдоль, Семка пошел к русской учителке. Она пила чай.

— Хочешь чаю? — спросила она.

— Хочу,— сказал Семка и стал пить чай.

Он выпил три чашки и спросил:

— А он добрый?

— Кто — он? — удивилась учителка.

— А тот, кто сказку сочинил.

— А, Горький! — засмеялась девушка.— Очень добрый. Он любил таких курносых, как ты. У него даже целая база курносых есть.

И она достала из шкафа пачку журналов с портретами Горького.

— Спасибо,— сказал Семка,— большое тебе спасибо. Я посмотрю и отдам их тебе. Только не называй меня курносым,— добавил он,— я не маленький, мне уже одиннадцать лет.

И, еще раз поблагодарив учителку, он с журналами под мышкой ушел в свой чум.

Он долго рассматривал картинки, на которых был нарисован высокий и худощавый человек.

У сказочника, сочинившего песню о Данко, были длинные и добродушные усы, худое морщинистое лицо и глаза бабушки Няркопэ,— глаза, тронутые горем и усталостью.

Казалось, человек так много прожил, что узнал все хорошее и плохое на земле, но попадалось ему больше плохое. Оно-то и избороздило его лицо глубокими морщинами мудрости.

Портретов было много, но всех милее показался тот, на

котором сказочник был нарисован среди гор, в широкополой шляпе и крылатке. Сказочник стоял на возвышенности, высокий, немного хмурый, и смотрел на Семку добрыми и понимающими глазами, а позади него стлалась мягкая синеватая дымка над морем какой-то южной страны.

Не отрываясь, почти час смотрел Семка на портрет, изучая его, и когда все стало понятно, он опустил веки.

И мечта, похожая на сказку, заполнила маленькое сердце Семки. Он открыл глаза и торопливо схватил кусок клыка. Точно боясь позабыть видение, он стамеской и ножом, буравчиком и пилочкой стал обрабатывать кость. Давно уже опустилось солнце за горы Пай-Хоя, давно уже вернулся с работы отец, а он все сидел и строгал, боясь позабыть чудесную картину, заполнившую его сознание.

Отекли ноги от напряжения, заболела спина, зарябило в глазах, а Семка не бросал работу. И, только когда солнце вновь заглянуло в чум, Семка вспомнил совет отца.

Бережно спрятав наполовину обработанный клык, Семка поел холодного мяса и лег спать.

Но и во сне его преследовало чудесное видение. Лицо его, вначале спокойное, стало напряженным, тревожным, счастливым.

...От дальних лесов,— видел Семка,— на легких нартах мчалась к его стойбищу упряжка на трех белых олешках, и человек в широкополой шляпе и крылатке сидел на нартах.

Из-под седых и немного сердитых бровей он озирал тундру добрыми голубыми глазами и улыбнулся Семке, бегущему навстречу ему.

— Здравствуй, Сема! Здравствуй, курносый! — кричал голосом Данко человек.

— Я совсем не курносый,— ответил Семка, удивляясь, почему ему сейчас не обидно, что его называют курносым.

— Вот в гости к тебе поехал. Решил посмотреть, как ты живешь, как учишься.

— А я письмо тебе хотел сделать,— отвечает Семка.— Я еще маленький и знаю только три буквы. Осенью будут в школу набирать, я тоже поеду.

— Обязательно поезжай,— говорит Горький,— а то видишь, сколько я сказок тебе привез?

И видит Семка в руках Горького сказку о горящем сердце Данко. И видит Семка, что на коленях у Горького лежит стопка книг и позади к нартам прикручено столько, что в годы не прочтешь.

А Горький улыбается и немного хриплым голосом говорит озабоченно:

— Как только ты их прочтешь-то при трех буквах?

— Правда, правда,— говорит Семка,— три буквы-то мало же... Учителка наша больно хорошая, да у нее работы много, некогда одними сказками заниматься, спать-то ведь тоже надо.

— Правда, правда,— говорит Горький.

И вдруг большая туча цвета чернее черного закрывает его вместе с упряжкой, и Семка кричит от страха. Он кричит и плачет, а Горький поднимает над собой сказку о горящем сердце Данко, и сразу тьма пропадает. Он держит ее высоко над землею, и она светит, как июльское солнце, так ослепительно, что даже глазам больно.

— Глупый Семка,— говорит, улыбаясь, Горький,— чего ты испугался? Ведь солнце светит...

Семка открывает глаза и смущенно осматривается. Отец, склонившись над его лицом, смеется и показывает на солнце.

— Глупый,— говорит он,— испугался?

— Кого мне пугаться? — сердито отвечает Семка.— Я не маленький, чтобы мне пугаться.

И, хорошо пообедав, Семка вновь принимается за работу.

Он тщательно вырезает копылья нарт. Он запрягает в нарты трех белых оленей и ласковыми движениями напильника шлифует их рога. Он долго думает, оставить ли им рога. Весной олени сбрасывают их, и Горький, получив его письмо, скажет: «Худой оленщик этот Семка: весна, а он у оленей рога оставил».

Семка долго думает. Ему жаль лишить оленей рогов. Ведь он так много трудился, выпиливал и вырезал их. Но правда выше всего! И Семка скрепя сердце отпиливает по одному рогу у каждого оленя.

«Пусть будет некрасиво, зато правда»,— думает он и начинает вырезать человека, сидящего на нартах. Он делает широкополую шляпу и крылатку, он вырезает длинные добродушно-сердитые усы и морщины на открытом и ясном лбу.

Только глаза ему никак не удаются.

Он долго роется в журналах, и наконец счастливая мысль приходит к нему. Он делает глаза такими, какими он видел во сне: немного лукавыми и приветливыми.

Проходит трое суток, прежде чем глаза начинают блестеть умом, добродушием и ласковостью.

Остается сделать немногое: на коленях — стопку книг, на задке нарт — стопку книг и в правой руке самую важную книгу — сказку о горящем сердце Данко.

Высунув язык, даже затаив дыхание, Семка вырезает книги. Он долго смотрит на свою работу и с грустью убеждается, что человек мертв и олени не бегут.

Тогда, отдохнув и выспавшись, он вновь принимается за резьбу. Он чуть-чуть наклоняет фигуру человека и ноги оленей. Он делает две скорбных морщины у рта человека и с гордостью смотрит на свое «письмо».

Но как же поймет чудесный сказочник, что ему, Семке, нужны книги?

И Семка быстро догадывается. На другом конце клыка он вырезает чум, нарты, двух олешков и собаку. Он вырезает рядом с нартами даже хорей — шест для управления упряжкой. Из китового уса он делает тынзей — аркан — и вешает его на передке нарт.

А впереди всего этого он старательно вырезает фигурку, самого себя. Он хочет сделать свой нос прямым, но вспоминает о правде и вырезает его курносым.

Посмотрев на все это, Семка с печалью замечает, что Горького, с приветливой и дружеской улыбкой, изо всех сил мчащегося на нартах, встречает спокойно ожидающий, чуть ли не равнодушный человечек.

И Семка меняет свое изображение. Он делает его бегущим навстречу к Горькому с широко раскрытыми руками и подкашивающимися от радости ногами.

На этот раз все, что он сделал, его удовлетворяет.

Осколком стекла он шлифует все фигуры и, собрав охапку зеленовато-седого мха, приносит его в чум. Он приносит ящик из-под конфет и бережно укладывает в меховую постель письмо, вырезанное из кости. Он никому не показывает его, боясь, что люди посмеются над его нежностью.

И только адрес на ящике он доверяет написать колхозному счетоводу. Правда, счетовод и сам не отличается грамотностью, но у него красивый почерк, и Семка долго любуется надписью, сделанной им на посылке:

МОСКВА, КРЕМЛЬ
ПАМЯТНИК ПУШКИНА
Алексею Максимовичу Горькому
от Семена Ильича Лаптандера

Семка долго любуется надписью, но его смущает «памятник Пушкина».

— А может, он не там живет? — спрашивает он робко.

— Как не там? Там! — уверенно отвечает счетовод.— Все поэты около памятника Пушкина живут.

И для убедительности добавляет:

— А если у памятника не найдут, то в Кремле разыщут. Я-то уж знаю.

И, чтобы Семка не беспокоился, счетовод сам отвозит посылку на почту.

Проходит много томительных недель. Семка уже теряет надежду на ответ, но вот однажды осенним вечером почтальон привозит ему посылку. Он бережно кладет ее у костра и тихо говорит Семке, точно утешая:

— Ничего, парень. Что ж поделаешь?.. Бывает...

И Семка видит вернувшееся к нему письмо, вырезанное из кости.

Оно опоздало всего на несколько дней. Прах человека, спевшего чудесную сказку о горящем сердце Данко, уже лежал замурованный в темно-красные стены московского Кремля.

НЕИСТОВЫЙ СЫН ЛАПТАНДЕРА

На нартах, через кусты яры, через болотистую низину едет Илько Лаптандер к сопке, покрытой ягелем пепельного цвета. Олени выбрасывают копытами гроздья оранжевых брызг. Стоит солнце в зените, и желтые оводы, тонко звеня, мчатся за упряжкой. Стремительно вылетая отовсюду, они впиваются в короткие хвосты оленей, в розоватые ноздри и бока, чтобы отложить в коже свое потомство.

Концом хорея Илько отгоняет или давит их, и они падают под широкие полозья нарт в красновато-бурую воду.

Июльское солнце уже месяц кружится над тундрой, и от этого воздух кажется удушливым и пряным. Он пахнет болотистыми низинами, грибами и мхом.

«Дождь будет,— думает Илько,— комары будут».

Нарты вползают на вершину сопки, и на дне долины видно разбредшееся стадо.

«Не разбежались бы,— тревожится Илько,— грибов много сей год».

Олени очень любят грибы. Они разбегаются в поисках их далеко по тундре, а пастухи всякие есть — и олени могут погибнуть.

Подъехав к стаду, Илько видит на прогалине, среди кустов, нарты Егора Ванюты.

— Приехал? — спрашивает Ванюта, глядя на носки своих тобоков, сшитых из нерпичьей кожи.

Илько не отвечает. Он видит у самых кустов пустую бутылку. Солнце сверкает на донышке ее.

Ванюта поднимает взгляд. Илько видит его глаза, налившиеся кровью, и влажные губы.

— Сын...— говорит Ванюта сочувственно,— а ты его побей.

— Не надо пить в стаде,— тихо говорит Илько,— олешки разбегутся. Они наши ведь...

— Кто узнает об этом? — смеется Ванюта и обтирает губы ладонью.

— Он,— говорит Илько.

— Ха,— говорит Ванюта,— как он узнает?

— Он уже написал про тебя в газету,— отвечает Илько и, сойдя с нарт, поднимает бутылку и забрасывает ее в кусты.

Ванюта недоверчиво смотрит на своего бригадира, и лицо его постепенно мрачнеет.

— И что ему надо? И что он такое есть?

— Не знаю,— говорит Илько,— иди домой, поспи. Ты пьяный.

— Я не пьяный,— говорит Ванюта.— Я выпил только бутылку. Я хотел оставить и тебе, но ты не пьешь.

— У меня худой живот,— говорит Илько,— мне никак нельзя пить.

— А я совсем и не пьяный,— говорит Ванюта,— видишь, я совсем не пьяный.

Он, пошатываясь, встает. Олени испуганно выдергивают из-под него нарты, и он падает на влажный мох.

Илько поднимает его и усаживает на свои нарты.

— Я совсем не пьяный,— говорит Ванюта и вынимает из кармана четвертинку,— давай выпьем это вместе.

— Не надо,— говорит Илько,— если я буду пить, он про меня тоже напишет в газету, и все будут смеяться надо мной.

— А ты его побей,— советует Ванюта,— или я побью.

— Он студент,— качает головой Илько,— если побить студента, будут нас судить.

— Худой у тебя сын,— задумчиво соглашается Ванюта.— Он будет большим начальником, и его все будут бояться. Правда?

— Правда,— тихо говорит Илько.

— Он смеялся над тобой?

— Смеялся.

Илько долго молчит, рассеянно разглядывая стадо. Потом добавляет нехотя:

— Он заставил меня мыться .Он лил мне на руки воду, и я мыл лицо.

— А еще что?

— Он учил меня делать на бумаге мою фамилию. Я долго рисовал ее, и у меня заболела голова.

— Это очень трудное дело,— убежденно говорит Ванюта и переходит к своим нартам.— Если меня заставят так мучиться, то я уйду из колхоза.

— Ты поспи,— говорит Илько,— уезжай к чуму и поспи.

Но Ванюта отрицательно качает головой.

— Я совсем не пьяный,— старательно выговаривает он и, неуклюже усаживаясь на нарты, дергает вожжу.

Упряжка медленно везет его к стаду.

Илько кричит на собак, и те добродушным лаем подгоняют к стаду отбившихся оленей.

К западу спускается солнце, и в косых лучах его теперь заметны голубые паутинки на ветвях тальника. Лемминги — тундровые мыши, высунув остренькие мордочки из своих нор на макушках кочек, смотрят бисерными глазками на собак и с тонким, пронзительным свистом скрываются в норках, почуяв враждебный запах собачьего пота.

С востока тянет влажный ветерок. Илько смотрит на желтеющее небо и мягкую дымку над горизонтом. Первый комар садится ему на лоб. Не проходит и минуты, как комары начинают звенеть вокруг его лица. Он натягивает капюшон малицы и смотрит на стадо.

Олени бьют копытами, отбиваясь от оводов и комаров. Илько вздыхает.

Объехав стадо, он останавливается рядом с упряжкой Ванюты. Тот уже лежит рядом с нартами, и в руках его пустая четвертинка.

— А говорил, что не пьяный,— удивляется Илько и поднимает на нарты ослабевшее тело пастуха.

И оттого, что ему теперь не с кем побеседовать, некому пожаловаться на жизнь, на душу Илько ложится какая-то осенняя и одинокая тоска.

Уже туманы плывут над маленькими озерами. Не свистят лемминги. Бледная луна встает на востоке, широкая, как медный таз. И собака лениво свернулась у его нарт, а Ванюта все спит и спит, и не с кем Илько разделить печаль. Был у него хороший сын, а теперь вот вернулся из

школы через три года и стал начальником. Ничто ему не нравится в родном чуме: дым — плохо, невыбитые шкуры — плохо, бородатые пастухи — плохо, и даже оленья кровь, которую Семка пил с детства, стала казаться ему плохой. «В ней могут быть бациллы»,— сказал он.

— Ты сам бацилла! — смеялись над Семкой пастухи, но он вытащил книги и показал кривые палочки.

— Это бациллы сибирской язвы,— сказал он и отказался пить оленью кровь.

Тогда Илько спросил, что же будет, если все книги Семка прочитает. Верно, откажется есть все на свете.

— Нет,— ответил Семка,— я тогда поеду в Москву и стану оленьим доктором.

— А я куда? — спросил тогда Илько.

— Я тебя с собой возьму,— сказал Семка.

Все тогда посмотрели на Илько и сказали:

— А ты не бойся, Илья Семенович. Ты можешь не поехать с ним.

И Илько сказал, что он родился в тундре, вырос в тундре и умрет в тундре, на берегу озера, в своем колхозе.

— Как хочешь,— сказал Семка.

И то, что он не стал уговаривать, обидело Илько.

Рос нелюдимый сын, все время думавший о чужих краях, а не о родине, не об олешках и тундре. Рос никчемный мужик.

Этому его обучили в школе; а чтобы совесть была чиста, велели ругать все, что было не по науке.

«Даже слепая собака приходит умирать в родное стойбище. Семка не вернется умирать на родину. Он разлюбил ее в школе. Для него теперь весь мир родина, и нет родины»,— думал Илько, и горькое чувство потери наполняло сейчас все его существо.

Неудобно подвернув под бок руку, храпел на нартах Ванюта. Он ворочался во сне и бормотал что-то неразборчивое и смутное. Изредка он дрыгал левой ногой и звал собак. Пастухов не хватало, и Ванюта много суток подряд один сторожил стадо. Он был хороший пастух, но иногда выпивал, и его за это однажды исключили из колхоза. Он долго не пил после этого, но вот опять не вытерпел.

«Теперь его совсем исключат»,— с сочувствием думал Илько.

Илько жаль его будет тогда. Куда он денется? В батраки к кулакам пойдет? А здесь он заработал только за год на пятьдесят олешков.

Солнце в розовом тумане доползло до полуночи. Пол-

часа постояв на севере, почти касаясь горизонта, оно стало подниматься, и комары, относимые ветерком, уже не беспокоили стадо. Стадо медленно ползло на север, поднимаясь на широкую и пологую сопку.

— Вставай, Ванюта,— сказал Илько, тронув плечо пастуха,— я поеду.

Ванюта дрыгнул ногой и пробормотал:

— Я вовсе не пьяный.

— Вставай, Ванюта,— повторил мягко и настойчиво Илько,— ты давно в чуме не был.

Ванюта встал и сонным взглядом окинул тундру.

— Не поеду в чум. Я здесь останусь.

— Ты худо спал. Отдохнуть надо,— сказал Илько, но Ванюта наотрез отказался вернуться в чум.

— Мне и здесь хорошо,— отвечал он и, окликнув собак, поехал к стаду.

«Захворает, а кто о нем жалеть будет? Сирота. Только и вспомнят, что пьяница был,— с горечью думает Илько.— Семка первый же в газету напишет: «Гнать таких из колхоза».

Олени бодро тянут нарты обратно к стойбищу. Полозья нарт пригибают колючий кустарник, и ветви его хлещут по лодыжкам Илько. Вот уже виден дым из чумов, что стоят на вершине крутой сопки. Ветерок пригибает дым к склонам ее, и Илько уже ощущает горьковатый запах вяленого мяса и ржаного хлеба.

Въехав в стойбище, Илько отпускает оленей и с удивлением прислушивается. В чумах ругаются женщины.

«Сын,— думает Илько,— всех перессорил...»

Из чума выходит Семка. Он выходит из чума боком и тащит за собою шкуры-постели. Не замечая Илько, он вешает шкуры на одну из нарт и гибким хлыстом-лозиной выбивает из них пыль. Ветерок относит ее на Илько. Женщины выбегают из чумов и, обступив Семку, бестолково кричат:

— Еще детские зубы не выпали, а уже всех учит!

— Начальником стал, слепая мышь!

— Ха,— отвечает Семка,— колхозники! — и хмыкает насмешливо.

— Тебя побить надо! — говорит одна из женщин.

— Ишь ты! — говорит Семка, продолжая старательно хлестать лозой по пыльной шкуре.

Широкое рябое лицо его сосредоточенно-сердито. Широкие уши оттопырены и розовы от солнца, которое смотрит в глаза Семке.

Откинув выбитую от пыли шкуру, он вешает на нарту следующую и продолжает работу.

— Умрешь сегодня, Семка, от вши! Всех не выбьешь,— смеются женщины.

— Оставь хоть для развода одну. Всю жизнь с ними в дружбе жили, как теперь без них спать-то?

— Поспите,— говорит Семка сердито,— я вас заставлю даже с мылом умываться.

Из чума выходит, тяжело переставляя ноги, пастух Ноготысый.

«Приехал»,— думает о нем с неприязнью Илько.

Пастух угрюмо смотрит на Семку и спрашивает хриплым голосом:

— Да кто ты такой есть, что мне спать не даешь?

Семка бережно кладет лозу на нарты и вынимает из грудного кармана поношенной юнгштурмовки бумажку, свернутую вчетверо.

— Читай,— важно говорит Семка.

Пастух берет бумажку и растерянно рассматривает ее. Он хмурится и потеет. Ему очень хочется узнать, что в ней написано, но стыдно сознаться перед мальчишкой в своей неграмотности. Пошевелив губами и искоса взглянув на женщин, пастух утвердительно кивает головой и говорит:

— Все так! И печать даже есть. Все правда. Ничего не поделаешь.

И, смущенно отвернувшись от женщин, он подходит к Илько.

А Семка хитро улыбается. Он свертывает справку о прививке ему тифа и говорит:

— Ну!

Женщины покорно расходятся по чумам. Они выволакивают шкуры и начинают так яростно щелкать по ним прутьями, точно хотят выместить на них злобу против Семки. Они выносят латы — доски, стелющиеся вокруг костра и заменяющие в чуме стол. Горячей водой они моют посуду, продолжая роптать на школу, которая так испортила сына Илько Лаптандера.

А Илько сидит на нартах и щурится от утреннего солнца.

— Был в больнице? — спрашивает он пастуха.

— Доктора не было,— отвечает тот и беспокойно отводит глаза от взгляда Илько.

— А водка была? — хмуро спрашивает Илько.

— Водка? — неохотно говорит пастух.— Я ведь немного выпил.

— Эх ты,— с грустью говорит Илько.— а Ванюта больной. Домой приехать не может из-за тебя...

— Русские правду говорят: «Дуракам закон не писан»,— отвечает пастух, и самодовольная улыбка появляется на его губах.

— Эх ты,— говорит Илько,— умный...

И, поднявшись с нарт, уходит в свой чум.

На чистых досках, проскобленных ножом, Илько видит тетрадь сына с рисунками.

Семка сидит на шкурах и чинит карандаш. Он делает второй номер «Чумовой газеты». Дел много, а сотрудник один — Семка. Если бы не приняли Семку в комсомол, отдыхал бы он каникулы, не зная заботы, но его приняли в комсомол, и тяжелые обязанности легли теперь на его плечи.

Надо было научить отца грамоте, женщин чистоте, выпустить стенную газету в чуме. Потому-то, приехав в родное стойбище, Семка собрал всех пастухов, женщин и детей и сказал им:

— Я буду здесь делать культурную революцию.

Пастухи, не раз слышавшие это слово, охотно согласились.

— Делай, Семка, делай. Ты ведь у нас теперь ученый...

А когда он начал делать ее, они сердились. И теперь вот Семка знал, что и отец сердится на него.

«Пусть сердится»,— думает Семка, но на душе его становится тоскливо при этой мысли.

А Илько смотрит на тетрадку-газету и видит нарисованного на одной из страниц пастуха с красным носом. Пастух лежит на нартах, раскинув ноги, и в правой руке его полупустая бутылка. Внизу стояла подпись: «Ванюта».

— Кто это нарисован, Семен Ильич? — спрашивает он.

— Ванюта,— говорит Семка,— алкоголик Ванюта.

— А кто тебе про это сказал? — хмуро говорит Илько.

— Ноготысий. Он из больницы ехал и видел его пьяным.

Илько печально смотрит на рябое лицо сына, на его широко оттопыреные уши, на руки, очиняющие цветной карандаш. Ему хочется назвать сына Семкой, но, сам не зная почему, он называет его по отчеству.

— Не надо так про Ванюту, Семен Ильич,— просит он,— он хороший человек.

— Ты несознательный товарищ! — говорит Семка и, наклонившись над тетрадкой, продолжает работу. Он старательно пыхтит, выводя по линейкам кривые строчки

статьи, гневно повествующей о развале трудовой дисциплины в бригаде Илько Лаптандера.

«...Выжечь каленым железом это охвостье разгильдяйничества»,— пишет Семка, вспоминая все фразы, прочитанные им в передовых статьях окружной газеты «Красный тундровик».

Правда, Семка не совсем понимает, что значит слово «охвостье», может быть, это просто хвост или не совсем чистый хвост, но фраза ему нравится своей звучностью и беспощадностью.

Закончив статью, Семка выходит из чума. Ноготысый, заискивающе улыбаясь, показывается у входа, и в руках его сверкает зеленоватая бутылка.

— Выпьешь немного, Илько? — спрашивает он, проходя в чум.

Илько боязливо смотрит на бутылку.

— Он теперь долго не придет,— говорит пастух,— ты не бойся его.

— Мне некого бояться,— говорит Илько и отводит взгляд от бутылки,— мне никак нельзя пить, у меня совсем худой живот.

— А ты немного.

— Я старший бригадир,— говорит Илько,— мне никак нельзя пить.

— Как хочешь,— отвечает Ноготысый и бережно ставит бутылку на берестяное лукошко у изголовья своей постели.

Илько искоса посматривает на нее. Щемящая и страшная тоска наполняет его душу. Хорошо бы забыть, хотя бы ненадолго, о ней. Хорошо бы заснуть бездумно до нового дня, до завтрашнего солнца.

А Ноготысый уже достал чашку и выбил пробку из бутылки. Отрезав кусочек черного хлеба, он натирает его крупной солью и наливает вина.

— Может, выпьешь все же? — спрашивает он.

— Налей,— говорит Илько,— мне все равно тяжело...

— Вот-вот,— радуется Ноготысый,— правда, правда.

И наливает дополна сначала одну, потом и вторую чашку.

Илько выпивает их и, понюхав ломтик хлеба, откидывается навзничь у своей постели.

Вернувшись в свой чум, Семка сутулясь садится у костра. Бледные вспышки пламени падают на его рябое

усталое лицо. Непривычная складка собирается на лбу.

«Может, усну,— думает Семка,— лучше будет».

Но в чум приходят женщины. Они рассаживаются у костра и недовольно ворчат:

— Говори, Семка. Спать надо.

Семка смотрит на женщин. Маленькая старушка Некучи сидит по другую сторону костра, и глаза ее, ясные и глубокие, смущают Семку. Они неподвижны, эти глаза, и печальны. Кажется, видят они что-то далекое, неизвестное Семке и безутешное, как материнское горе.

— Сядь рядом со мной, Некучи,— говорит Семка.

Женщина осторожно встает и, вытянув руки перед собой, обходит костер. Она садится рядом с Семкой и неожиданно улыбается, но глаза ее по-прежнему неподвижны и грустны.

— Говори, Семка,— просят женщины.

Храпит во сне Ноготысый. Трещит хворост в костре. Дым сизой пеленой стоит, еще колеблясь, над головами женщин. Свернувшись по-детски, лежит на шкурах Илько Лаптандер, и тело его подрагивает.

— Что ж,— говорит Семка,— слушайте мой доклад.

И, помолчав немного, он показывает на Некучи:

— Видите...

И показывает на клочья копоти, повисшие над головой отца.

— Видите, как живет колхозный бригадир товарищ Лаптандер, или, по-другому говоря, мой отец,— произносит Семка и, помолчав минуту, спрашивает тоном районного оратора: — А что такое есть вошь? А?

Женщины насмешливо переглядываются.

— Да неужто ты и это не знаешь, Семен Ильич? — спрашивают они почтительно.

— Вошь — это пережиток от царя и урядника.

— Ишь ты,— удивленно качает головой Некучи,— и у них они, видать, были! Ишь ты!

— Помолчите,— просит Семка,— я вам сначала все докажу, а потом будете со мной дискуссию открывать.

И, привстав с лат, Семка потянулся к своей постели и схватил брезентовый портфель с заржавевшим замком.

Медленно маленьким ключом он открыл замок и достал книгу. «Тиф и борьба с ним» — было написано на обложке книги.

— Вот,— сказал Семка, открывая ее на середине,— видите?

Женщины обступили Семку и вскрикнули от изумления. На всю страницу была разрисована вошь.

— От этой вши умерло столько людей на земле, сколько оленей в тундре.

— Ой, беда-беда! — испуганно зашептали женщины.— Какая большая! У нас-то ведь все маленькие, а от такой и вправду умрешь. Такую убивать надо.

— Это самая обыкновенная, только увеличенная в пятьсот раз,— сказал Семка,— это она под микроскопом такая.

— Смешные эти люди — ученые: говорят — вытрясайте шкуры, а сами увеличивают вошь. Худо это. Говорят одно, а делают другое,— покачали головами женщины.

— Не понимаете вы,— сказал Семка и задумался.

Неожиданно взгляд его остановился на бинокле, висевшем рядом с Ноготысым. Пастухи иногда пользовались им, чтобы найти отбившихся от стада оленей. Лицо Семки осветилось надеждой. Он перешагнул через костер и взял бинокль. Он отвернул от бинокля широкое стекло и показал на щель в латах.

— Смотрите через него на доску,— сказал он.

Женщины посмотрели.

— Ой, грязи-то сколько,— сказала одна из них,— худо промыли все же, а так, без стекла, незаметно.

— Теперь понимаете, почему здесь она такая большая нарисована?

— Понимаем,— сказали женщины, хотя они еще очень смутно понимали, как ученые увеличивали в книге этот пережиток царя и урядника,— ученые, верно, в очках ходят, и им все кажется большим.

А Некучи провела по странице подрагивающими пальцами и сказала:

— А я не понимаю. Дым убил мои глаза, и я ничего не вижу.

— Все правда, Некучи,— сказали женщины,— верь ему. Шкуры вытряхать надо, а то вши расти будут. Они вырастут с куропатку, если долго не мыть доски и не вытряхивать шкуры.

— Теперь мы разберем по пунктам, что такое есть болезнь тиф.

— Отпусти нас, Семен Ильич,— говорит Некучи,— нам спать охота.

— Отпусти нас,— говорят женщины,— это сразу трудно понять.

Семка думает. Он нехотя прячет книгу в портфель.

— Что ж, идите,— говорит он, провожая женщин полным горечи взглядом.

Женщины уходят, и только Ноготысый бормочет сквозь сон:

— Нет, не пойду я. Пусть сегодня Вылко пасет. Мне в больницу надо.

Семка сбивает в кучу обгоревшие веточки в костре и с грустью говорит:

— Вот...

И впервые за всю свою небольшую жизнь он с ненавистью смотрит на убогий уют родного чума, на сизую пленку дыма, на шкуры, покрытые бахромой копоти.

— Эх вы, охвостье старого быта,— говорит сердито он и ложится спать.

Всхлипывание и крики женщин чудятся Семке всю ночь. Сны беспорядочные и рваные снятся ему, но неожиданно наступает затишье, и чья-то рука трогает Семку по вспотевшему лбу.

— Вставай, Семен Ильич,—слышит он голос Некучи,— беда!

Семка вскакивает. В чуме темно, и только белесое пятнышко неба светлеет в мокодане.

— Приехал Ванюта,— шепчет Некучи вздрагивающим голосом,— он заболел, и мы попросили у Ноготысого водки. Ноготысый принес водки и стал ее пить, а стадо без пастуха. Мы пошли за Илько, а он весь черный, хворый. Его водкой кто-то напоил. Что делать? Ты начальник теперь, прикажи Ноготысому.

— Мне только четырнадцать лет,— говорит Семка,— я вовсе не начальник, а такой же, как все.

Но, одевшись и войдя в соседний чум, Семка говорит Ноготысому тоном большого начальника:

— Гражданин Ноготысый! В чем дело?

Ноготысый развалился у костра, и багровое лицо его выражает великое блаженство.

— Ха,— говорит он,— от работы волки дохнут.

Семка наклоняется над Ванютой. Лежа на боку, он глухо, с надрывом кашляет, и желтая тряпка, которую он держит у рта, вся в крови.

— Простыл я, Семен Ильич,— говорит он печально,— вот полежу немного и опять в стадо пойду. Ноготысый не хочет. Надоела мне, говорит, бедная жизнь.

— Поменьше бы пил, сват, да по больницам ездил, вот и заработал бы больше,— беззлобно говорит Некучи.

— Молчи, несознательная! — кричит Ноготысый.— Надоели мне эти проклятые олешки.

— Лежи, Ванюта,— тихо говорит Семка,— в больницу тебя отвезти надо.

И он выбегает из чума, чтобы запрячь нарты.

Но нарты уже запряжены, и на них лежит Илько Лаптандер, и губы его черны, как обугленные. Илько держится рукою за живот и тихо стонет.

— Потерпи, тятя,— говорит Семка.

— У меня совсем худой живот...— тяжело говорит Илько и замолкает, вглядываясь белесыми глазами в лицо сына.— Олешки, Сема, разбегутся... Грибов много сей год... Потеряются.

— Я пошлю Ноготысого.

— Не пойдет он, Сема... Он богато раньше жил, а теперь вспоминает об этом... Скажи бабам... Они поймут...

— Скажу,— говорит Семка,— только молчи.

И возвращается в чум, помогает Вылко подняться и сесть на нарты. Две девушки берут хореи в руки и садятся на нарты с больными. Упряжки уносят их на восток, покрытый иссиня-черными тучами.

Высокая женщина с толстыми кривыми ногами подводит к чуму свежую упряжку. Она берет тынзей и приносит из чума Илько Лаптандера бинокль.

— А ты куда? — спрашивает Семка.

— К олешкам пойду,— говорит женщина,—без них как жить будем?

— Ты сознательный товарищ, и тебя за это премировать надо,— говорит взволнованный Семка и идет в чум.

Ноготысый уже спит сном праведника, вытянув длинные худые ноги к огню, пламя уже тронуло его пимы, сшитые из оленьих шкур.

Семка оттаскивает ноги пастуха от костра и говорит с ненавистью:

— Каленым железом надо выжечь это охвостье разгильдяйничества...

И, чтобы женщины поняли, про кого он говорит, Семка показывает на Ноготысого.

Пастух открывает глаза. Розовые распухшие веки его дрожат.

— Но, но,— говорит он,— только не грози.

И вновь погружается в сон.

Взяв у женщин бинокль, Семка садится на нарты и

уезжает к стаду. Мельком он оглядывается на стойбище и по-ребячьи радуется.

Женщины выносят из чумов шкуры и выбивают их на ветру от пыли.

«Хороший я доклад вчера сделал»,— думает Семка и смотрит на небо.

Тяжелые тучи закрыли его наполовину, скрыв солнце. Края туч покрыты золотисто-палевым светом. Длинные косые тени бегут по земле, и комары легким облачком несутся над упряжкой, над Семкой, позади него.

«Только бы олешки не разбежались»,— думает Семка.

Упряжка оставляет за собой сопку за сопкой, речку за речкой, но стада все еще не видно.

«Худа бы не было»,— думает Семка и тотчас же успокаивается, заслышав отдаленный лай собак.

С вершины крутой сопки видно, наконец, Семке оленей. Небольшими табунами они разбежались во все стороны, и четыре маленькие лохматые собачки охраняют каких-то двадцать оленей.

«Глупые,— думает Семка про собак,— караулят пригоршню, а остальных отпустили».

Он зовет собак. Те с радостным лаем мчатся навстречу Семке. Послушные его сердитому крику, они вновь пытаются сбить стадо, сгоняя табунки к озеру, но поднимается ветер, и олени поднимают головы.

Они поднимают головы и нюхают ветер. Задрав бархатные рога на спину, они бьют копытами о зыбкую землю и, точно сорвавшись с привязи, мчатся навстречу ветру, подминая под себя кустарник.

— Ой, беда! — в смятении шепчет Семка.

Слезы обиды навертываются на его глаза.

Когда поднимется ветер, даже троим пастухам не удержать ошалевшее от ветра стадо, а он один...

Не доезжая до фактории, где был врач, нескольких сопок, Илько Лаптандер поднял отяжелевшую голову и прошептал потрескавшимися губами настойчиво и твердо:

— Остановись, Нябинэ.

Девушка остановила упряжку.

Илько посмотрел на черное небо. Холодный ветер задел его щеку.

— Ветер? — испуганно-недоумевающе спросил он.

— Ветру как не быть,— сказала девушка.

Илько посмотрел на соседние нарты и сказал:

— Ванюту скорее вези, пусть лечится.

— А ты? — спросила девушка.

— Ветер,— сказал Илько Лаптандер и, перехватив из рук Нябинэ хорей, повернул упряжку обратно.

— Вот и помрешь? — растерянно спросила девушка.— Ну и помрешь.

— Ну и помру,— сердито сказал Илько Лаптандер.— И ты помрешь.

— Я не скоро...

— Ну и лешак с тобой,— сказал Илько,— а я скоро...

— Ты несознательный товарищ,— сказала девушка.

Илько тихонечко оттеснил ее с нарт, и она очутилась на земле.

— Иди теперь пешком, раз я несознательный.

Девушка засмеялась.

— Ты сознательный,— сказала она, садясь на нарты,— только у тебя живот худой.

— Живот у меня, однако, сильно худой,— вновь помрачнел Илько и, проводив взглядом упряжку с Ванютой, повел свою к родному стойбищу.

А ветер нарастал. Он бил в лицо Семки властными струями и теснил дыхание.

«Успеть бы, успеть бы»,— шептал Семка и во всю силу своих легких кричал на упряжку. Упряжка рвалась навстречу ветру, приминая нартами мелкий кустарник, влетая в болотца, пересекая мелкие речки с каменистым дном; упряжка мчалась изнемогая. Впереди ее летели собаки, охрипнув от лая. Вот они уже остановили половину стада, и олешки, мелко вздрагивая, повернули обратно навстречу Семке. Нужно было подъехать к оленям и послать собак дальше, но в болотце завяз теленок. Он хоркал жалобно, тщетно пытаясь выдернуть тонкие ножки из корней яры, и Семка остановился. Мать безмолвно бегала вокруг болотца. Природа отняла у нее дар голоса, и она ничем не могла даже ободрить своего детеныша.

«Глупый,— с нежностью думал Семка, выручая из беды нялоку,— из-за тебя...»

Он посмотрел на горизонт, вслед стаду. Дымчато-бурые спины мелькали на сопках и скрывались.

— Потерялись олешки,— прошептал Семка, выезжая из болотца.

И вновь свист ветра в ушах, все приближающееся стадо и крупный дождь, яростно бьющий по лицу.

Это походило на сон.

Не разбирая пути, через ямы и сопки мчится упряжка, а Семка видит только стадо и не замечает крутого обрыва, черной змеей ползущего наискосок. Он не замечает ничего, кроме оленьих голов уже остановившегося стада, но резкий удар по ногам, какой-то странный шум в ушах и ослепительный свет, озаривший его душу, прекращают его полет над оранжевыми кустами тундрового тальника...

...Упряжка с размаху падает в обрыв на дно каменистого оврага.

Он просыпается в своем чуме. Вокруг добрые, понимающие лица женщин. Постаревший отец. Губы его дрожат, когда он наклоняется над Семкой.

— Если бы не ты,— говорит он,— олени бы разбежались.

И все улыбаются, покачивая головами, точно хотят сказать, что они никогда не забудут, как Семка спас им жизнь.

— Приезжал доктор,— говорит Илько,— велел тебе лежать. Ты ушибся немного. Поправляйся.

— А мы думали, что ты только в начальники хочешь вырасти, а ты и олешков любишь,— неожиданно говорит Некучи.

— Я ученым хочу быть,— шепчет Семка,— а начальником я не хочу быть.

Он хочет сказать еще что-то важное и ласковое, но Илько перебивает его.

— А я на тебя и не сержусь,— говорит он,— и про Ванюту напиши. Он хороший человек, но ему пить не надо. Его из колхоза тогда исключат...

— Напишу,— говорит Семка,— обязательно про Ноготысого напишу, пусть его исключат. А про Ванюту...

Семка улыбается мягко, по-детски.

— Пусть его самые хорошие врачи лечат. Он сознательный элемент, а не охвостье какое-нибудь.

И устало опускает веки.

БЕССМЕРТИЕ

Этого маленького города больше не существует. Только плачет в ночи одичавший котенок, да протянула к небу опаленные руки яблоня, посаженная десятилетней девочкой.

И, когда в эти развалины вновь войдут наши люди, за-

кончив трудную работу войны, я хочу, чтоб посреди будущего города, в сердце самого красивого парка, они поставили памятник.

Пусть из белого твердого мрамора скульптор высечет стремительную фигуру девушки с гранатою в тонкой руке.

Вот и все. Проходя мимо памятника, старики обнажат головы, а юноши и девушки посмотрят друг другу в глаза, и лица их станут серьезными.

— Аня Леонова,— еле слышно произнесут их губы.

В ту ночь городок покидали последние беженцы. Аня тоже могла бы уйти. Ведь ее никто не удерживал. Но, прислушиваясь к завыванию фугасных бомб, вглядываясь в пожары на горизонте, Аня чувствовала, что ей не покинуть города. Огни прожекторов качались в небе, сплетаясь и вновь отдаляясь. И небо, сожженное небо, походило на глубь океана, в котором плавали медузами огоньки взрывов.

Едкий запах тротила наполнял обманчивую тишину, и там, на востоке, где плакали дети, шли обозы, тарахтели орудия, поглощенные мглой, качалась алой ракетой одинокая звезда.

— Что ж? — прошептала девушка.— Что же теперь?

И, покинув бомбоубежище, она побежала по искромсанным тротуарам, сама не понимая, куда и зачем.

Невзорвавшаяся мина напугала ее. Она отшатнулась и перепрыгнула выкорчеванную взрывом землю. Впереди лежала улица, изъеденная снарядами, влево тянулся сад.

Девушка свернула влево. Удивительное спокойствие вернулось к ней, когда босые ноги ее ожгла крапива, затерявшаяся меж рядов смородины и крыжовника.

— Крапива! — почему-то обрадовалась она.— Жалится, проклятая!

И, оттого, что здесь она встретила крапиву, и смородину, и яблони, которые сажала когда-то, девушка рассмеялась.

Она легкой походкой прошла меж рядов смородины и присела на корточки. Бережно притронулась кончиками пальцев к гроздьям смородины и ощутила холодок, идущий от земли.

— Что же теперь? Что?

И, торопливо срывая ягоды, девушка стала есть. Теперь она слышала шум листвы, стрекот кузнечиков и дыхание земли. Она радовалась тому, что замечает все это.

— Как же быть-то? — шептала она.

Можно было теперь лечь на траву, под яблони, и ду-

мать о своей судьбе. На весь город она осталась одна.

Стоит тишина. Скоро будет рассвет, и, пока сюда не ворвались танки с крестами на орудийных башнях, можно еще раз пройти по родному городу.

Город был пуст...

Фугасная бомба разрушила домик с палисадником. От домика осталась одна стена. Девушка подошла поближе и прислушалась. Она пошарила по стене рукой и вздрогнула. На стене висели часы. Их не разбило взрывной волной. Они пробили пять раз. Ладонью она нащупала градусник, висящий рядом, и близоруко всмотрелась в него.

— Двенадцать градусов,— сказала она.

Это было забавно. В развалинах дома время шло попрежнему. Градусник Реомюра показывал двенадцать градусов.

Город был пуст...

Странные улицы, милые улицы. Вот на этой тихонькой — имени партизана Железняка — прошло ее детство.

По шатким ступеням вошла она в маленький домик.

Вот и диван, на котором она спала. Вот стол, за которым обедала.

Девушка бережно прикрыла дверь, обошла двор и через широко раскрытые ворота вышла на улицу Индустрии.

Здесь, у проходной завода, она встречалась с Васей Щитковым. Совсем недавно они поклялись не разлучаться до гроба.

Где теперь ты, Вася Щитков?

Может, лежишь ты в степях Западной Украины под старым курганом, и шумит ковыль над тобой, и не нужна тебе никакая Анка? Тебе все равно. Но ведь ты не верил в смерть!

А может, там, далеко, ходит в ночные атаки твоя танковая часть?

Только одно правда: если ты будешь жить, ты никогда не забудешь девушку с улицы имени партизана Железняка.

Задумчивая, чуть грустная улыбка пробегает по губам девушки.

Много улиц в маленьком городке, кривых, тихих, заполненных садами. Дозревают персики, и бархатистая оранжевая кожица их густо пропитана солнцем.

Девушка срывает три персика. Прислушивается. Пальцы ее застывают с персиками у губ.

Со стороны Вокзальной улицы слышен крик.

Он еле различим, этот задыхающийся крик:

— Товарищи!

Девушка бежит в переулок, осторожно выглядывает из-за угла. Лицо ее каменеет. Она закрывает глаза и чувствует, как бьется ее сердце.

Посреди улицы по булыжнику ползет красноармеец, волоча за собой мертвеющие ноги.

Лицо его серо и безжизненно. Он приподнимается на локтях и, закрыв глаза, вздыхает:

— Сюда, товарищи!

И голова его никнет на камни.

Девушка опускается на колени перед бойцом и бережно поднимает его голову.

— Что, товарищ?

Проходит одна, две, три минуты, прежде чем боец открывает глаза.

— Ты кто? — с трудом выдыхает он. Взгляд его туманен и далек.— Ты наша?

— Ну, конечно,— старается улыбнуться Аня.— Я не успела уехать.

Веки бойца дрожат и медленно опускаются.

— Подожди,— слабеющими губами шепчет он,— я сейчас...

И теряет сознание.

Девушка голубой косынкой обтирает его лицо.

— Они должны были вернуться,— точно в бреду шепчет боец.— Мы не имели права покинуть свой пост, пока они всё не вывезут. Но мост был взорван, и нашу охрану обстреляли. Они так и не вывезли всё. Остался один я. Теперь там немцы.

Раненый вновь поднимается на локтях. Из его груди вырывается какой-то горячечный крик.

— Бензин! — кричит он.— Бензин!

Девушка поддерживает его голову.

— Слышишь, как гудят их самолеты? — тихо спрашивает он.

Но это только кажется. Прозрачна утренняя тишина. В городе двое, и один из них умирает.

— Так что же с бензином? — спрашивает девушка.— Что с бензином? — кричит она, с надеждой всматриваясь в лицо раненого.— Ну?

— Возьми гранаты. Умеешь?

Она кивает головой.

— Взорви все, товарищ! Там... у станции... бензосклад...

Руки бойца слабеют. Он падает щекой на камни, и вспотевшее лицо его принимает цвет мостовой.

— Я не смогу бросить тебя,— говорит девушка.— Как же я брошу тебя? Ты умираешь. Тебя надо перевязать.

Боец молчит.

— Я никуда не пойду! — кричит, задыхаясь, девушка.— Я не могу бросить тебя!

Боец делает последнее усилие. Он открывает глаза и долгим-долгим взглядом смотрит на девушку. Он находит в себе силы даже улыбнуться ей.

— Ты думаешь, я помру? — улыбается он своими серыми глазами.— Нет!

— Я не могу оставить тебя. Мне жалко тебя,— шепчет девушка, и слезы застилают ей глаза.— Как же я смогу оставить тебя?

Боец хмурится.

— Можешь,— отчужденно говорит он.— Надо. Иди!

И, проводив ее взглядом, он вынимает левой рукой пистолет и, не торопясь, спускает его с предохранителя.

— Теперь она уже далеко,— шепчет он и, закусив дуло, нажимает гашетку.

Она слышала выстрел и поняла, что теперь уже незачем идти обратно. Пять высоких колонн зеленело за насыпью. Они были замаскированы. Высокие ели были нарисованы на колоннах с бензином.

Немецкие часовые охраняли их.

Аня поняла, как тяжело ей выполнить последнее напутствие погибшего товарища.

Она не сможет подойти близко: ее пристрелят.

Железнодорожная насыпь пахнет мазутом и полынью.

Поднимается солнце в багровом ореоле. В желтом небе кружат «мессершмитты» и «хейнкели».

Она обманет часовых, она сделает свое дело. Только бы перелезть через канаву!

Девушка выходит на насыпь. Часовой поднимает винтовку и стоит, прислонясь спиной к колонне.

— Эй! — кричит девушка улыбаясь.— Эй!

— Стой! — кричит по-немецки часовой.— Буду стрелять!

Он с недоумением всматривается в веснушчатую маленькую русскую девушку.

Девушка смеется. Простая и веселая улыбка.

Часовой ухмыляется.

— Альфред! — кричит он.

Его товарищи отходят от соседних колонн. Они, осклабясь, смотрят на русскую девушку.

— Очень хорошая девушка,— говорит один из немцев и прицеливается из пистолета в грудь девушки.

«Я же не умру»,— почему-то вспомнила она.

И крикнула изо всех сил:

— Вам нужен бензин? Получайте!

Девушка бросила гранату, за нею другую...

Взрыва она не услышала. Только небо полыхнуло синим пламенем, только запах войны заполнил все ее существо.

...Я хочу, чтобы время вовеки не стерло бессмертное имя этой маленькой веснушчатой девушки.

„ПРОМЕЖУТОЧНАЯ"

В этот час маленький блиндаж кажется Машеньке особенно неуютным. Остыла печурка в углу, мигает огонек лампы-пятилинейки, и капает вода на доски койки.

Машенька еще сильнее закутывается в шинель и, прижав к уху телефонную трубку, вслушивается в тихий гул проводов, в смутный поток позывных. Она косится на книгу, развернутую посредине, но читать не полагается, а дежурить еще долго, и девушка с горечью думает о своей судьбе. Занесла она ее в эту «Промежуточную», где не только почитать, даже поговорить не с кем. Старый связист Тихоныч в счет не шел. Он был угрюмый и молчаливый человек. С утра до вечера он пропадал на линии, соединяющей два участка фронта, а возвращаясь, спрашивал Машеньку с удивлением, точно впервые над этим задумывался:

— И чего в вас толку на войне? Ну?

— Вот еще,— говорила Машенька,— а Людмила Павличенко, а Вера Крылова, а Зиба Ганиева?

— То они! То герои...— не сдавался связист.— А ты-то ведь что? Воробышек. У тебя даже нос какой-то ненастоящий. Курносый.

Машенька обижалась. И, в самом деле, она не походила нисколько на настоящего героя. Маленькая и худенькая, с угловатыми чертами лица и порывистыми мальчишескими жестами, она казалась подростком. Ее мечтательная душа протестовала. Машенька хотела доказать всем, на что она способна, но, посмотрев на ее фигуру, командир отправлял ее в самое безопасное и неинтересное место, и не было случая показать себя такой, как Людмила Павличенко, как любой настоящий герой. Только и

знай сиди в блиндаже, прижав мембрану к уху, и слушай, как кто-то сердито ворчит на тебя:

— «Промежуточная»! «Промежуточная»! Какого черта ты заснула?

А Тихоныч по-прежнему пропадает где-то на линии. Он давно уже исправил прорыв, но все сидит там и думает небось о чем-нибудь своем, таком же угрюмом, как этот ветер над головой.

— «Промежуточная»! — слышит девушка далекий писк и, очнувшись от дремы, усиленно моргает глазами и отвечает спокойно и даже равнодушно:

— «Промежуточная» слушает.

— Звони на «Амур»: что-то дозвониться не могу.

— «Амур»... «Амур»,— просит Машенька и со злостью крутит ручку аппарата.— «Амур»...

...«Амур» не отвечает. Девушка проверяет контакты. Вновь крутит ручку, вызывает соседние станции, но «Амур» молчит. Связь прервана.

— Устраните немедленно,— просит сиплым и далеким голосом телефонист.— Настряпаете нам делов!

Девушка с досадой кидает трубку на рогатку аппарата. Сердце ее начинает колотиться. Что-то слишком часто сегодня рвется линия. Еще раз осмотрев клеммы аппарата, Машенька убедилась, что вся причина в обрыве. Она закрыла глаза и мысленно пробежала по всей линии. Провод не пересекал шоссе или поля, и танки не могли его порвать. Кто же оборвал этот провод? Немцы? Но здесь хоть близкий, но тыл.

Машенька закусила губу, и ей стало жаль покидать блиндаж. Теперь он казался уютным и теплым.

Перекинув через плечо ремень аппарата, Машенька заложила в своей ППШ свежий диск. Она была влюблена в свой автомат и даже фотографировалась для фронтовой газеты с ним на груди. Зажав ППШ под мышкой и нахлобучив шапку, она покинула блиндаж. Дул все тот же колючий декабрьский ветер, сгоняя с неба последние тучи. Ярко светила луна, и лимонные дорожки пролегли между берез, и подковки сапог Тихоныча были отчетливо впечатаны в узкую тропинку... Машенька наклонилась к проводу и потянула его. Провод не поддавался.

«Дальше»,— подумала Машенька и, не выпуская провода, быстро зашагала по тропинке. Провод, чуть слышно шурша, бежал меж ее пальцев, соскальзывал наземь, но девушка вновь поднимала его и только у бугра бережно опустила на снег. Обрыв был найден.

Положив автомат рядом, Машенька наклонилась над проводом и стала зачищать концы озябшими пальцами. Она торопилась, аппарат мешал ей. Маша услышала шорох позади, но сдержала себя. Она медленно, как бы невзначай, покосилась влево и левой рукой взялась за холодный автомат. В трех шагах от нее сидела тень человека с поднятой, как дубина, оглоблей. Сердце ее остановилось, и она ощутила страшный шум в ушах и бег своей крови... Остальное произошло как-то само собой. Она упала на землю, перевернулась, и ее автомат прошил огненной и косой очередью тишину леса, и грудь человека, и его покачнувшееся искаженное лицо.

Облизав пересохшие губы, девушка встала, оглянулась и поползла по кустам. Колено ее задело за провод. Вспомнив о порванном проводе, Машенька вновь схватила концы и, оглядываясь кругом, соединила их.

Она хотела еще закрутить концы плоскогубцами, но слева, из-за куста, блеснул огонек, и пули просвистели над ее головой. Машенька вновь упала на провод, и, прицелившись, ответила из своего автомата. Длинная очередь вздыбила снег под ее ногами. Машенька откатилась влево, к старой березе, не спуская взгляда с куста. Короткими очередями она отвечала невидимому противнику, но тот не умолкал, и пули его все точнее и точнее ложились вокруг Машеньки.

— Неправда! — шептала Машенька.— Неправда!

И вдруг губы ее дрогнули. Диск был пуст, а в спину ее бил автоматчик.

Звук карабина пресек перестрелку. Машенька вздрогнула и, не успев повернуться, услышала тяжелое падение человека позади себя и почувствовала горький привкус во рту. Белый куст закачался в глазах, куда-то глубоко-глубоко упала луна, и сразу стало темно, как в колодце, закрытом сверху.

Очнулась она уже в блиндаже. Тихоныч сидел на корточках у печки-каленки, подкидывал в нее смолистые ветки и медлительно курил крепкую махорку, поглядывая на огонь. Машенька улыбнулась какой-то странной и веселой своей мысли и чуть пошевелилась, чтобы поправить доску под собой.

Старый связист оглянулся и пристально посмотрел на нее.

— Ну чего ты? — сказал он.— Лежи знай. Вояка!

— Это ты его из карабина? Да? — спросила Машенька.— Какой ты все-таки молодец! Я думала...

Тихоныч нахмурился:

— Что ты думала?

Машенька засмеялась. Ей стало впервые уютно и хорошо в этом маленьком и тесном блиндаже.

— А я думала, что ты злой,— сказала Машенька.

Старый связист крякнул и сделал вид, что поперхнулся дымом. Он подошел к кровати, снял с себя шинель и бережно укутал ею девушку.

— Ну вот что,— сказал он, пытаясь говорить сурово,— ты, знаешь, не очень... Лежи — и все. Твоя смена окончена.

И, скрывая улыбку, он повернулся к Машеньке спиной и взял трубку:

— Алло! Да... да... «Промежуточная» слушает. Что с Машенькой? Да ничего. Это не девка, а ястребок. Врача? Не надо. Маленькая царапина. Я сам забинтовал. Что? Хотите ее от меня забрать? Ну, это дудки. Да. Какие дудки? Да те, что в лесу растут. «Промежуточная» — это вам не старый сарай, а штаб связи. Да.

Бушует огонь в печке. Изредка звонит телефон, и хотя «Амур» давно уже отозвался и сделал, что надо, старый связист все-таки вызывает «Амур»:

— «Амур»... «Амур»... Как слышите? Хорошо? Проверка линии.

СЕСТРЕНКА

Он лежал на лесной прогалине и все еще бредил атакой.

— Я тебе покажу, гадина! — шептал он обветрившимися черными губами.— Не уйдешь!

Санитарка быстро делала свое дело. Она оттащила его в кусты, и трава в том месте, где они проковыляли, стала глянцевой, сизой, как после инея.

— Потерпи, товарищ, не надо кричать,— настойчиво и мягко попросила она.

— Гадина! — все тише и тише повторял раненый, и тяжелые кулаки его медленно распустились, по острым скулам поползли блеклые пятна.

Девушка встала на колени, всмотрелась в его лицо и ощутила губами прерывистое горячее дыхание.

Перочинным ножом она разрезала голенище левого сапога. Сладковатый запах крови и пота стеснил ей дыхание. Это было новое ощущение, и она на мгновение закрыла глаза. Она перестала даже дышать: так сильно пахла кровь.

Но руки ощутили густую теплоту, и она открыла глаза. Она преодолела тошноту, подкатывавшую к горлу, и бережно освободила раздробленную ногу от голенища.

Отрезав штанину повыше колена, девушка резиновым жгутом перетянула ногу и остановила кровотечение.

Теперь оставалось закрыть рану. Но, когда она стала это делать, руки отказались ее слушать. Голубые жилки, подрагивавшие в густой крови, притягивали ее взгляд и вызывали головокружение.

— Боишься?

Девушка вздрогнула. Она посмотрела на раненого. Скуластое лицо его было бескровным, и губы казались еще более черными и обветрившимися. Одни глаза смотрели на девушку спокойно и понимающе. Точно это были глаза совсем другого человека.

— А ты не бойся...— тихо сказал он.— Я уже теперь ничего не чувствую.

И, опустив веки, раненый спросил:

— Ее отнимут? Да?

Девушка не ответила, она быстро закрыла марлей рану.

— Значит, правда? — настойчиво повторил боец.

— Лежи,— сказала девушка.— Я позову врача.

Ткнувшись носом в канаву, догорал у шоссе вражеский танк. Раскаты боя удалялись. Шипящий, придыхающий свист повисал на мгновение в воздухе, и лишь спустя минуту-две раздавалось «ух-ахр» дальнобойных орудий.

Девушка посмотрела на дорогу, и губы ее задрожали. Беспорядочно паля, мчались вражеские мотоциклисты. Она отпрянула к кустам.

— Ну вот...— растерянно прошептала девушка.— Ну вот...

За мотоциклистами ползли тяжелые танки. В асфальт впечатались следы широких гусениц. Потом все стало тихо, и только мерный шаг пехоты был слышен за изгибом шоссе.

Девушка долго и внимательно всматривалась в лицо раненого, и нежность, сострадание, и гордость, что вот только от нее одной зависит его жизнь, овладевали ею.

У него было скуластое некрасивое лицо и неуклюжее длинное тело. Руки его, распластанные на траве, носили следы боя. Ладони были в масле и ссадинах. Девушка посмотрела на свои руки. Мягкая розовая кожа, прозрачная и бархатистая.

«Война,— подумала девушка.— И такие руки!»

Ей не понравились ее руки. Она еще боялась смерти,

страданий и войны. Наверное, она еще не обрела подлинного мужества, такого, каким владел вот этот человек, подбивший связкой гранат вражеский танк. Может быть, ей и не надо быть такой, как он.

— Товарищ! — сказала девушка, низко наклоняясь над лицом раненого.— Товарищ!

Веки бойца дрогнули, но он не открыл глаз.

— Наши отступили.

— Уходи, сестра,— тихо, но настойчиво прошептал боец.— Моя песня спета. Ты еще успеешь.

— Не говори глупостей! — сердясь, сказала девушка.

— Это маневр. Наши стоят по обе стороны шоссе. Они пропустят танки и отрежут их от пехоты. Я знаю.

— Никуда я не пойду.

— Девчонка!..— сказал боец.— И на кой черт вас сюда только посылают?

Они помолчали. На его висках, на лбу проступил пот.

— Ну,— сказал он, преодолевая судорогу лица,— ты все еще здесь?

— Я и не думаю уходить,— плаксиво сказала девушка.— Как же я тебя брошу?

— Дура! — сказал боец и заскрипел зубами.

Через несколько минут он открыл глаза, взгляд их был глубок и странен.

— Какая ты маленькая...— улыбнулся он одними губами.— Куда мне с тобой?...

От этого можно было заплакать.

— Эх ты! — сказала девушка.— А еще командир!

И, сделав суровое лицо, она встала на колени.

— Оставь меня в покое,— уже равнодушно сказал раненый.— Все равно тебе меня не утащить.

— Неправда! — чуть не плача, выдохнула девушка.— Сам ты баба!

И, шатаясь от тяжести, она понесла раненого в глубь леса.

Это стоило ей дорого: она чувствовала, как что-то обрывается внутри, как мутная истома охватывает все ее тело, как начинает кружиться голова и холодное утреннее солнце становится обжигающим и пыльным солнцем войны.

Бережно опустив бойца на мох, она прикрывает его ветками и, запоминая дорогу, по следу на траве возвращается за оружием.

К поясу она привешивает гранату и долго всматривается в пустынное шоссе.

Голова у нее кружится. Она прислоняется щекой к

шершавой коре березы и закрывает глаза. Она чувствует, как земля медленно уходит из-под ног...

Она опускается на траву, и холодок земли радует ее. Девушка плачет, сама не замечая этого. Плечи ее вздрагивают, и винтовка с оптическим прицелом выскальзывает из рук. Потом это странное состояние проходит. И, хотя мир, небо, трава, солнце по-прежнему качаются перед ее взглядом, она встает.

...Боец спит. Над лесом летят «мессершмитты». Они глухо урчат. Этот астматический гул будит раненого.

— Дай мне винтовку,— просит он.

— Отдыхай,— говорит девушка.— Там идут по шоссе.

— У меня хватит силы,— говорит боец.

— Они все равно высоко,— отвечает девушка.

Голова ее кружится. Проклятое состояние!

Но самолеты летят все-таки низко. Она поднимает винтовку.

— Не надо,— говорит боец.— Мне показалось, что я смогу стрелять.

Раненый долго молчит и шевелит губами. Он дрожит в мелком ознобе.

— Какой холодище! — говорит он.— А ведь еще не осень.

— Это от ноги.

— Мне же совсем не больно!

— Это ничего не значит. Скоро опять будет больно.

— Ну и черт с ней! — говорит боец.— Теперь мне все равно. Все равно ее придется отрезать,— поясняет он.

— Надо верить, что этого не будет.

Боец пристально смотрит на девушку, улыбается устало:

— А ты настоящий врач: ты боишься сказать правду.

Девушка снимает шинель и укутывает бойца.

Вечер не приносит им утешения.

Она вынимает галеты и банку с консервами, вскрывает ее штыком и подвигает бойцу:

— Подкрепись, товарищ!

И, повернув его на бок, чтобы было удобно, она поддерживает его левой рукой и кормит с ложки.

— Завтра ты будешь в госпитале, и все будет хорошо.

— А ночь?

— Ты поспишь эту ночь. Мы подождем наступления наших.

Раненый медленно ест. На серых скулах его появляется румянец.

— У меня есть сестренка,— почему-то говорит он.— Насупленная такая, сердитая. Я часто думаю о ней. Мечтаю.

Боец улыбается медленной и сдержанной улыбкой.

— Она даже не поверит, что меня ранили. Так, скажет, царапина какая-нибудь...

— Не надо об этом думать,— говорит девушка.

— А я и не думаю: я просто знаю. Только мне обидно, что эта гадина все-таки удрала.

Боец молчит. Он видит вечернее небо, в его глазах отражаются редкие облака и ветки осины.

— Скоро уж осень,— со странной грустью говорит он.— Наши сейчас уже молотят рожь, а Никита, наверное, по саду расхаживает. Мечтает.

— А кто этот Никита? — не понимает девушка.

— Садовод наш. На Урале. Он горбатый у нас. С детства.

— О чем же он мечтает?

Боец вынимает дрожащей рукой папиросу и закуривает. Он отвечает медленно и тихо:

— О чем мечтает? О своих антоновских яблоках, о жизни, о себе. А больше всего о яблоках. Такой уж он странный.

— Ты тоже странный.

Девушка смотрит внимательно и нежно. Этот пристальный взгляд смущает бойца. Он видит сейчас перед собой не товарища по войне, а девушку: так сердечно она глядит на него.

— Я вовсе не странный,— говорит он, стараясь снисходительно улыбнуться.— Только война кончилась для меня. Теперь остались госпиталь, санитарный поезд... Ничего уж я больше такого не увижу.

— Если бы ты нашел в себе силы не верить этому! — говорит девушка.— Ведь пока ничто не потеряно.

— Не будем об этом говорить,— сказал раненый и закрыл глаза.

«Заснуть бы. Крепко. Надолго. И проснуться в госпитале»,— подумал он и постарался заснуть.

Нога жила. Он чувствовал, как зудит подошва, как ее хочется почесать.

Почему она зудит? Ведь одни сухожилия соединяют голень со ступней.

— Посмотри на шоссе: может, что-нибудь там есть.

Девушка поднялась и какой-то странной, разбитой походкой пошла к шоссе.

Роса уже вновь лежала на листве осинника. Капельки ее покрыли ворсинки на шинели. Запахло болотом и чащобой. Сладкий, чуть дурманящий запах осени.

Потом показалась луна. Смутная в вечернем тумане.

— Никого там нет,— сказала девушка.

Он вновь закрыл глаза и ничего не ответил.

Девушка покрыла его своей шинелью и села рядом. Она посмотрела на луну и вздохнула. Тяжело ей достанется эта ночь.

Противный озноб начинает наполнять ее тело. Гимнастерка не греет. Спит боец тяжелым и больным сном. Губы его шевелятся, лицо сереет, и лихорадочные пятна болезни проступают на щеках.

«Скоро он будет бредить»,— думает девушка.

— Ушел, ушел! — шепчет раненый.

В удушливом кошмаре ползут на него немецкие танки. Они грохочут, и гусеницы их рвут землю, и стреляют пушки вдоль шоссе прямой наводкой.

— Пить,— просит он, открывая глаза.

Но испуганно замолкает: девушка спит рядом с ним на траве, и лицо ее объято жаром, а руки вздрагивают. Боец тылом ладони прикасается к ее лбу. Сомнений нет: девушка заболела.

В эти дни санитаркам некогда было уснуть: они подбирали раненых и убитых, уносили винтовки и гранаты...

Это были не просто санитарки. Их ласковые руки умели делать тысячи дел.

И, боясь выдать свою нежность, боясь вскрикнуть от боли, раненый закрыл глаза и откатился в сторону, чтобы освободить шинель из-под себя.

Он сразу потерял сознание.

Потом, когда он поднял веки, ему стало удивительно хорошо.

Он уже лежал на шинели, и девушка, бинтуя ему ногу, смотрела на него виновато и смущенно:

— Я, понимаешь, уснула, а ты откатился.

— Мне хорошо,— сказал он,— мне очень хорошо. Только я зябну,— схитрил он.— Вот спирту бы.

Она постаралась улыбнуться.

— Я лягу рядом с тобой,— просто сказала она,— все-таки будет теплее.

И, укрыв его шинелью, она легла рядом и укутала полой шинели его ногу.

— Постарайся уснуть, товарищ. Скоро будет утро.

Но до утра было еще очень далеко, и он успел за это время пережить две атаки, а она вспомнить родину.

— Ты спишь, сестренка? — спросил раненый.

— Я думаю,— сказала она.— Как тебя зовут?

— Антоном,— сказал раненый.— Антон Вершинин.

— Спи, Антоша,— сказала девушка.

— А как тебя звать?

— Анастасия. Настя.

— Теперь я засну,— удовлетворенно сказал раненый,— а то я все время думал об этом и никак не мог заснуть.

Он попросил пить. Она дала ему воды. Что было дальше, он уже не чувствовал. Он не слышал ни боя на шоссе, ни взрывов вокруг. Он не почувствовал и того, как девушка, сгибаясь под тяжестью и облизывая потрескавшиеся губы, несла его через лес, через речку, через болото, к своим, к госпиталю.

Очнулся он уже через сутки. Нога его была в гипсе, и, может быть, самой счастливой из всех на войне была маленькая санитарка, наклонившаяся над ним. И, когда он открыл глаза, первое слово, произнесенное им, было «сестренка».

— Я здесь, Антоша,— сказала девушка.

И, чтобы впредь им было так же хорошо встречаться, она сказала:

— Хочешь, я напишу письмо твоей сестренке? Длинное-длинное письмо?

Но он покачал головой и смущенно сказал:

— Не надо...

— Почему?

— Не надо... Я все это придумал.

ПЕРЕПРАВА

Сержант посмотрел на правый берег, потом на часы, обтер лицо полой шинели и сказал хрипло:

— Держаться. Наши подойдут...

Кровь загустела на его висках.

Тарас отполз от своего пулемета и ощутил за спиной мертвых товарищей, мутные воды Кубани и шелест ветра в плавнях. Товарищи лежали на мокрой земле, и лица их все еще были искажены яростью недавней контратаки.

— Давай их похороним,— сказал Тарас и дрожащими руками вытащил из бескозырки смятую цигарку.— Ты хочешь курить?

Сержант вытащил коробочку с махоркой и кивнул головой. Они закурили, не сводя взгляда с правого берега. Обрушив на Тараса и его товарищей сотни снарядов и мин, враги теперь были уверены, что переправа на этот раз не сорвется.

— Восемь раз за сутки,— сказал сержант.— Это не всякий выдержит.

— Но мы-то выдержали,— сказал Тарас.

— Лишь бы наши подошли вовремя.— И сержант вновь посмотрел на часы. Они показывали половину одиннадцатого.— Еще полтора часа,— сказал он устало, взял саперную лопаточку и ушел в плавни.

Тарас свернул вторую цигарку, жадно затянулся и на кусочке фанерки стал выписывать химическим карандашом имена убитых. «Ваня Макаров,— писал он,— лейтенант Стрельченко, гвардейского экипажа старшина первой статьи Александр Остапчук». Глаза его застили слезы. Едва он успел закончить надпись, как вернулся сержант. На лопатке остались следы ила, и сержант, перехватив взгляд Тараса, виновато сказал:

— Им не будет обидно, если похоронить в плавнях? Мы ведь все-таки моряки. У вас по-своему это.

— Не все ли равно,— сказал Тарас, передал фанерку и пошел к убитым.

Не торопясь он каждого поцеловал в лоб, каждому сказал какое-то свое слово.

И, оттого, что он разговаривал с мертвыми, как с живыми, сержанту стало тяжело. Он отвернулся и торопливо свернул цигарку.

У трупа Остапчука Тарас опустился на колени и прошептал горько:

— Прощай, дорогой...

И они похоронили товарищей в вязкой и широкой могиле.

Впервые за сутки над рекой стояла тишина. Тарас подошел к своему пулемету и заложил в него ленту. В прицельную рамку он отчетливо видел понтоны, наводимые немцами.

— Отставить,— сказал сержант,— пока мы живы, приказ есть приказ.

— Я не думаю стрелять,— сказал Тарас,— я только прицеливаюсь.

И, бережно очистив пулемет от грязи, он сменил в кожухе воду и подтащил ящики с пулеметными лентами.

— Если меня убьют, похорони рядом с ними,— попросил он,— и фамилию припиши: Тарас Опанасенко.

И, чтобы сержант не забыл его наказа, он передал ему огрызок химического карандаша.

— Не забуду,— сказал сержант,— только ты об этом не думай. Сейчас некогда об этом думать.

— Я привык думать всегда,— сказал Тарас.— И почище дела бывали. Вон Остапчук знает...

И Тарас кивнул в сторону могилы.

Они помолчали, пока немцы на правом берегу не надули первый понтон и не спустили его в воду. И, точно ободренные этим, еще резче закричали офицеры, и тишина сразу рухнула с двух сторон — справа и слева.

— Снова перешли в атаку,— сказал Тарас.

— Пусть,— сказал сержант,— они — оптики, очки втирают. Думают, что с нами покончено.

— Ну, с нами нелегко покончить,— медлительно ответил Тарас и опустился в окоп. Украдкой он закурил цигарку, чтобы сдержать ярость.— Ты мне скажешь, когда время придет.

Сержант не ответил. В воздухе появились самолеты, и земля задрожала от артиллерийской музыки. Через минуту справа показались остатки разбитой переправы и на ней трупы гитлеровцев. Потом поплыли раненые. Они медленно тонули. Их прибивало к плавням и вновь уносило дальше, вниз по течению.

— Может быть, пора? — спросил Тарас.

— Три понтона,— сказал сержант,— посиди еще.

Но Тарас уже успокоился. Он вылез из окопа и посмотрел на переправу. Немцы надували четвертый и пятый понтоны. Позади, в степи, тарахтели тракторы. В свете электрических фонарей было видно, как тракторы и трехтонки разгружались от теса и досок. Быстро вытащив понтоны к середине реки, немцы укрепили их на якорях и стали наводить настил.

Сержант посмотрел на часы.

— Тридцать минут мы продержимся вдвоем, а там подойдут наши.

Тарас подполз к нему, не отводя взгляда от реки.

— Ты будто кого-то утешаешь,— сказал он сердито и упрямо.— Я никак не пойму, кого ты ободряешь?

— Я никого не ободряю,— сказал сержант.— Я просто говорю, что отступать не намерен. Некуда отступать.

— Так и я говорю,— сказал Тарас,— и ты меня лучше не ободряй. Я видел виды похлеще тебя. Понял?

— Я же не знал,— мягко ответил сержант,— я ведь только неделю как в вашей части.

— В этом все и дело,— миролюбиво сказал Тарас и вернулся к своему пулемету.— Может, пора, дорогой?

Было еще рано. Немцы навели только половину переправы. Часть переправы была уже вполне готова, по ней могли идти легкие танки и автомашины. Но в эти минуты лезвия прожекторов полоснули небо и ощерилась зенитная артиллерия. Пунктир трассирующих пуль прошил темноту. Потом с угрюмым воем ахнула бомба, переправа качнулась от взрывной волны, и два грузовика взлетели на воздух, а третий загорелся.

— Молодец,— сказал сержант,— отчаянный...

— Может, начнем, дорогой,— сказал Тарас, и голос его внезапно сник. Он прислушался, а спустя секунду пополз к камышам: — Идем за мной...

Они проползли до песчаной косы, вдавшейся в реку. В свете луны, прожекторов, вспышек орудий и ракет над переправой они увидели человека. Он полз, утопая по локоть в песке, и звал своего командира:

— Отделенный... товарищ отделенный...

Тарас подождал, когда он доползет до камышей, а потом взял за руки и сказал властно:

— Быстро к пулемету... Понял?

— Есть к пулемету, товарищ отделенный,— сказал раненый, точно очнувшись.

Тарас перевязал ему ногу, достал из фляжки спирту и налил в кружку.

— Выпей за Остапчука, моего кореша.

Щеки бойца передернула судорога. Его, видать, здорово контузило, он приходил в себя.

— За Остапчука,— сказал он трудным голосом и выпил не морщаясь, по-моряцки.

— Еще? — спросил Тарас.

— Дай фляжку,— попросил раненый,— я прямо из нее. Мне стало легче с вами.— И он опорожнил фляжку, потом пожевал сухарь и выругался: — Я уже был почти на том берегу, как саданули по нас, и я потерял сознание.

— А наши?..— спросил сержант.

— А куда же отступать? — ответил раненый.— Они же из морской пехоты.

— Слышал?! — торжествующе сказал Тарас и крепко пожал руку раненому, точно тот похвалил его.

— Чертова переправа,— пробормотал раненый.

Глаза его зажглись былой яростью, когда он посмот-

рел на реку: под пулеметным обстрелом сверху, под разрывами снарядов немцы наводили понтоны. Убитые падали в воду. Переправа рушилась от взрыва авиабомб по бокам, но немцы упрямо шли к своей цели.

До левого берега оставалось совсем немного, не более ста метров, и Тарас выкатил второй пулемет. Сержант помог ему подтащить патроны, а потом обернулся к раненому:

— Давайте простимся, ребята.

И обнялся с Тарасом, а потом с бойцом у пулемета.

Немцы подводили последний понтон, когда Тарас заложил ленту.

— Можно, товарищ сержант? — спросил он и увидел в прицельной раме щупленького офицера и четырех гитлеровцев. Чуть вправо уже стояло отделение автоматчиков, и в ожидании приказа на переправу потянулась рота мотоциклистов.

— А я садану по тому краю,— посоветовался раненый,— чтоб им в пекло к батьке легче было лезть.

— Ну что ж,— согласился сержант и сказал: — Можно.

И враз переправа замерла на какое-то мгновение. Частый огонь пулемета обрушился на правый берег, и заржали немецкие кони, и автоматчики попадали на настил, но пулемет сержанта накрывал их, и раненые сползали в воду. И те, что были ближе к левому берегу, тоже кинулись в воду, но Тарас, точно припаянный к пулемету, прошил их длинной очередью, и они поплыли вниз, относимые быстрым течением.

— Дай по берегу,— попросил сержант раненого.— Дай по тому берегу.

И раненый перенес огонь на тот берег, но немцы не дрогнули. Под крики офицеров они заполняли переправу, и те, что оставались живыми, бежали дальше, перепрыгивая по телам, конвульсирующим или недвижимым. Перед левым берегом они мгновение медлили, не решаясь кинуться с оружием в воду, и это помогло Тарасу бить их густой очередью.

Голова Тараса кружилась от напряжения и ярости. Какая-то странная лихорадка трясла тело, но, закладывая ленту за лентой, он успевал кричать раненому:

— Держись, дорогой!

И тот кратко отвечал:

— Держусь, братишка.

И каждый из них в эти мгновения чувствовал кубанскую степь за собой, и станицы, полные прифронтовой

тревоги, и Кавказ, который должен стать смертным рубежом для врага.

Но немцы шли и шли. В отчаянном марше они шли по этой смертной переправе, падали в воду с глухим криком и тонули — то быстро, то медленно,— и, только потеряв надежду навести последний понтон, обрушили на плавни весь огонь своих пулеметов, минометов, артиллерии.

— Надо переменить огневую точку,— сказал сержант.— Отступать нельзя, но надо обмануть их.

Тарас выругался и помог оттащить пулемет и патроны на новое место.

Сержант заправил ленту, смахнул пот со лба и прижался к земле. Снаряд тяжко ухнул вправо от него.

Солдаты вновь заполнили всю переправу. Сержант со всей яростью нажал на гашетку. Вокруг рвались мины, взлетали в небо песок и тина с клочьями камыша, но, кипя от ненависти, он видел только одно — эту смертную переправу и солдат, бегущих ему навстречу, и падающих в воду, и поднимающихся под его пули.

Какая-то радость вдруг запела в его душе, и он на мгновение закрыл глаза. Над переправой взвились фонтаны воды, и она рухнула от взрыва авиабомб, свалившихся с неба, полного звезд.

К берегу подошло подкрепление.

Сержант увидел на краю окопа Тараса, склонившегося над своим товарищем, застывшим у пулемета. Тарас, видимо, был ранен. Прижав левую руку к груди, он шептал сердечно:

— Держись, дорогой... Нам некуда отступать, дорогой...

ЖИТЬ ХОЧЕТСЯ

Они стояли плечом к плечу и видели перед собой поверхность реки, еще покрытой утренним туманом.

— Теперь уж немного осталось ждать,— сказал Никита.— Он только поговорит по телефону и вернется.

Они посмотрели и вправо и влево. По концам моста стояли немецкие часовые. Чуть подальше готовились к бою расчеты зенитных батарей. Никита и Вася знали, что позади стоит с автоматом через плечо немец с ефрейторскими нашивками и сплющенным носом, очевидно, боксер. Им хотелось обернуться. Но оборачиваться было опасно: у ефрейтора могли возникнуть подозрения, а это не входило в их планы.

Они привыкли выпутываться из самых сложных положений, и было глупо и на этот раз не попробовать остаться в живых. Но офицер не шел, а это уже было хуже.

С каждой минутой в их распоряжении оставалось все меньше и меньше времени. Они знали, что мост взлетит на воздух самое большое через пятнадцать-двадцать минут.

— Ни черта он не придет! — сказал Вася и облизал губы, рассеченные рукояткой офицерского пистолета.— Давай лучше подначим фрицев.

— Эй ты, сволочь! — сказал Никита.— Знаешь, как называется река?

— Молшать! — сказал ефрейтор.

— Ну его к черту! — сказал Вася.— Не связывайся с ним!

Они молча продолжали смотреть на реку и на мост. Мост был деревянный. И, когда по нему шли автомашины, он поскрипывал и качался.

Было так тихо, что всплеск щуки был звонок, как пощечина.

— Осталось не больше десяти минут,— сказал Никита и инстинктивно повернул голову влево.

Офицер торопливо приближался к центру моста. Он подошел к ефрейтору и сказал ему что-то отрывисто. Ефрейтор отошел на противоположную сторону.

Офицер взвел автомат и прижал приклад к животу.

— Скоро, что ли? — спросил Никита.

Офицер развязал им по очереди руки.

— Вы были здесь не зря,— сказал он по-русски.— Будем откровенны, как солдаты. Вы хотите жить?

Вася провел языком по нижней губе и посмотрел на Никиту и на восход, левее его.

— Мы не солдаты,— сказал он.— Мы матросы. Морская пехота.

— А-а...— снисходительно улыбнулся офицер.— И вы выполняли какое-то задание, а потом вышли на шоссе и тут вас поймали?

— Конечно,— сказал Никита,— у нас было задание. Мы шли из окружения и пробирались к своим.

Это было ясно и так. Офицер ждал, что скажет этот мальчишка, так упорно молчавший до сих пор вместе со своим товарищем.

— Зачем ты разговариваешь с ним? — сказал Вася.— Все равно это не спасет нас.

— Я не буду лгать,— сказал офицер.— Это может отсрочить расстрел, и только. Дней на пять.

— Мне бы этого хватило,— сказал Никита.— Хочется в последний раз посмотреть на солнце. А тебе?

Вася улыбнулся. Он понял, что это говорится для того, чтобы оттянуть время и приступить к каким-то действиям.

С Никитой всегда было так. В опасный момент он говорил, что страшно хочется жить, и неожиданный маневр не раз спасал безнадежное дело. Вася ждал этой фразы.

— Мне страшно хочется жить,— говорит он как можно безнадежнее и делает два шага к офицеру.— Вы ведь тоже, наверное, не хотели бы умереть?

Офицер заложил автомат за спину, и в уголках его губ дрогнула снисходительная улыбка.

Никита сделал еще шаг.

— Неужели ты струсил? — сказал Вася.

— Жить-то хочется,— сказал Никита.— И травка хочет жить. И птичка.

По лицу офицера пробежала тень. Улыбка в уголках губ мгновенно потухла. Он отвел автомат из-за спины, но уже было поздно.

Резкий удар в скулу снизу вверх, падение, очередь из автомата и всплеск воды — все это произошло в одно мгновение.

По мосту бегал ефрейтор. Он кричал что-то, и часовые, взведя автоматы, целились в воду, в широкую спину Никиты, топившего офицера.

Пули чертили пунктир впереди и позади него, и он нырнул, не выпуская офицера. Немец плавал лучше Никиты и вырвался из его рук. Легко выкидывая руки, немец плыл брассом. Фашисты вытащили пулемет. Теперь они охотились за Васей. Они ни на секунду не выпускали его из-под пуль, и Никита во что бы то ни стало решил догнать офицера.

Никите мешали широкие немецкие сапоги, снятые с убитого солдата, и он нырнул. Он легко освободился от них и стал настигать офицера, уносимого течением к левому берегу, к плавням. Плавни были уже близко. В этот момент Никита нырнул и ухватил немца за ногу.

Немец отбивался. Он уже ослабел в своем туго подтянутом обмундировании. Все это отвлекло солдат от Васи. Они перенесли огонь на Никиту. Боли он не почувствовал. Пулеметная очередь прошила его ноги, и в это мгновение в глазах его вспыхнул алый отсвет, и к горлу подступила тошнота.

Никита нырнул, увлекая за собой офицера. Уже задыхаясь, он открыл глаза и услышал густую очередь, от которой дрогнуло все тело офицера. Сделав последнее конвульсивное движение ногами, офицер поддался усилиям Никиты.

«Неужели и теперь повезло?» — подумал Никита и вновь вынырнул на поверхность, не выпуская офицера.

На мосту толпилось много солдат. Они смотрели почему-то вправо.

— Моторка,— прошептал Никита.

Страшное сомнение ожгло его сознание: как мост? Неужели не взорвется мост? Он должен был уже взорваться. Десять минут прошло.

Всплеск слева отвлек его.

— Васенька,— сказал Никита,— корешок мой!

Вася плыл как-то странно, боком. Левая рука его кровоточила.

— Ты не ушибся, Вася?

Вася не отвечал. Он плыл спиной к Никите, оставляя за собой кровавый след.

Никита закрыл глаза и услышал звук мотора.

«Завели уже»,— подумал он, и ему стало безразлично, задохнулся офицер или нет.

Он выпустил его, но офицер уже не всплыл.

В моторку вскочили двое автоматчиков. Они оттолкнули лодку и посмотрели на мост.

— Теперь уже все кончено,— сказал Никита и удивился своему голосу. Он звучал, как голос другого человека.

Моторку уже подхватило течение, когда на мосту закричал офицер. Он показывал на Никиту, на Васю, который, шатаясь, уходил в плавни. Моторка повернула к мосту, и солдаты кинулись к левому берегу.

— Кончено,— сказал Никита, и ему показалось, что он различил злорадную гримасу на лице офицера.

Но солдаты не добежали до конца моста. Резкий взрыв расколол небо, и мост, как рыжая кошка, выгнул спину и в дыму, в водяных брызгах рухнул в реку. Взрывная волна на мгновенье обнажила русло и выбросила Никиту в плавни.

Он упал, оглушенный. И, только когда все затихло, он почувствовал боль в ноге. Он не мог встать.

— Васенька! Корешок! — крикнул он и потерял сознание.

Очнулся он уже далеко от моста. Девушка-санитарка из партизанского отряда бинтовала ему ногу.

БЕЛЫЙ КОРШУН

Белый коршун кружился над ним. Он рождался в утренних звездах маленькой пушинкой на горизонте. Человек лежал на плоту из трех бревен, и это было последней его связью с землей и с кораблем. Он еще мог понимать это, когда звезды зелены в предрассветном тумане и когда жажда не пепелит растрескавшихся губ.

Но потом появился коршун. Он поднимался все выше и выше к зениту и концентрическими кругами опускался над морем. И крылья его, ослепительные, как у «юнкерса» в свете прожектора, того «юнкерса», который потопил их госпитальное судно, вырастали и застили звезды.

Белый коршун кружится все ниже и ниже. Моряк слышит свист его крыльев, точно легкий бриз запутался в снастях парусника. Уже можно различить его сизый и лаковый клюв, загнутый, как у кондора. Еще мгновение — и коршун задушит его... Человек закрывает глаза, сжимает кулаки. Приходит забвение... но вот снова появляются проблески сознания, возникают воспоминания.

...Этого можно было ожидать. Немцы сосредоточили вокруг города много дивизий, и никто бы не поверил, что так долго можно удержаться. Наши корабли спешно уходили на восток.

И госпитальное судно вышло в числе первых; легко раненые лежали в трюме, а тяжело раненые были наверху. Многие бредили и не хотели жить, и тогда санитарки успокаивали их тихо и настойчиво. Имя покинутого города не сходило с уст раненых.

Он тоже любил этот город, и ему тоже тяжело было покидать его. Но тогда не было времени об этом думать. Немецкие самолеты стаей коршунов кружились над ними и строчили из пулеметов по палубе, и санитарки взвизгивали от страха, хотя уже давно привыкли к войне. Все шло нормально, и зенитчикам пришлось здорово поработать. Они сбили три самолета из одиннадцати. Если бы не этот проклятый «юнкерс»...

Моряк открывает глаза, и крылья коршуна ослепляют его. Коршун снова кружится в полуденном небе, и его когти, готовые для удара, судорожно сжаты, и повыше их топорщатся перья. Раненый облизывает губы и просит пить. Потом он думает, что теперь все равно, и опускает веки.

Он многое еще не успел сделать. Он думал до войны, что немцы тоже люди; теперь он узнал, кто они.

— Посмотри! — сказала девушка-санитарка, показывая

глазами на старика еврея, которому немцы отрубили уши и высекли один глаз ударом хлыста.

Старик лежал на крайней койке, у самого борта, и семилетняя девочка подолгу сидела у его изголовья. Наверное, думала, что это ее дедушка. И старик плакал одним глазом и понимал, что для ребенка очень важно иметь своего дедушку, и он просил санитарку найти где-нибудь конфетку, и санитарка долго не могла найти ее, растерялась, и тогда старик попросил об этом капитана. Тот принес плитку шоколада и печенье, и голодный ребенок сначала съел печенье, а потом шоколад. И в эти минуты все больные забыли о войне и улыбались ребенку, точно радость старика была их радостью...

На мягких волнах качается плот, и левая рука человека ощущает упругость морской воды, но руку не поднимешь. Белый коршун давит ослепительным светом распростертое тело матроса.

...А потом этот «юнкерс». Летчик видел, что это госпитальное судно, но летчик не был человеком. Это был фашист. Он сделал три захода и стал расстреливать из пулемета тяжело раненных, и старик прижал к груди ребенка. Санитарка в желтой майке, с прозрачными голубыми глазами, упала меж коек и уже не смогла подняться. Ей перебило позвоночник, и она шевелила посиневшими губами, но нельзя было понять, что она говорит, и он отнес ее к врачу. Но в этот момент налетели еще три стервятника, и один из них спикировал, и от взрыва авиабомбы рухнули переборки, и пароход начал медленно тонуть.

Тот, кто вырос на море, над чьей колыбелью склонялись и дед, и отец, и старшие братья, видевшие все порты мира, тот любит море неувядаемой любовью. Только горький привкус морской воды, только ветер — то палящий, как в море, что лежит между Аравией и Египтом, то леденящий, как в море Баренца,— пропитал кровь навсегда, и нигде не скроешься от этой манящей тоски по дальним рейсам со всеми их опасностями и тяготами. И человек, может быть, не выжил бы даже суток, будь он на суше, но кругом море, суровое и милое, беспощадное и милостивое.

Ветра не было, и высоко в небе кружился белый коршун безумия и забытья, застилая своими крыльями Млечный путь. Человек застонал и потянул ногу. Плот качнулся, и левая рука погрузилась в воду.

— Пить...— шепчет моряк.

И вновь тишина. От такой тишины люди седеют за ночь.

...Он не успел отомстить за все. Он должен жить во что бы то ни стало, чтобы отомстить и за эту девушку-санитарку, которой прострелили позвоночник, и за старика, и за девочку, которой капитан дал шоколадку. Старика он никогда не забудет. Когда моряк очутился в воде, он видел старика, державшего в руках ребенка. Уцепившись за спасательный круг, он держал правой рукой ребенка и шептал ему что-то ласковое и успокаивающее. А ребенок обезумевшими глазами глядел на тонувших людей, лицо его было искажено непередаваемым ужасом. И старик не знал, что делать, и легко раненые пытались ему помочь, но немецкий летчик стал расстреливать их из пулемета, и старик выпустил спасательный круг. Захлебываясь, он все-таки не выпускал ребенка, и тот держался за спасательный круг до тех пор, пока старик не утонул. С третьего захода летчик расстрелял и ребенка, и тот, легко подхваченный водой, был вынесен в горящую нефть...

Он может вытерпеть еще одну ночь и еще одну, только бы вновь встретиться с врагом и отомстить за все: и за раненых, и за девушку, и за этого старика еврея с ребенком на руках.

Ночная синева прохладна и чиста, и человек на плоту открывает глаза. Белый коршун безумия исчез, слившись с звездой мореплавателей — Полярной звездой. Тупая, ноющая боль в ногах. Вновь возвращается ощущение жажды. Он понял, что теперь наступает самое страшное: надо забыть о жажде. Это ему удавалось вначале, но теперь становилось все труднее и труднее. Если он протянет до утра, то его может прибить к берегу.

Но звезды покрываются дымкой, и ветер возникает из глубины пространств. Он пресен, этот ветер, но он несет влагу...

Проходит вечность, прежде чем скупые капли дождя падают на воспаленные губы человека. Он жадно слизывает их. Дождь проходит так же быстро, как и пришел.

...Если он выживет, он попросится в морскую пехоту, чтобы с глазу на глаз встретиться с врагом, он будет беспощаден, они содрогнутся от его ярости. Он будет стараться прожить как можно дольше, чтобы как можно больше уничтожить их. За глаза ребенка, что с такой мольбой смотрели на него. За товарищей, покрывших своими телами землю вокруг Одессы, Керчи, Севастополя. За девушек, повешенных в Феодосии на проволоке, проткнутой в горло,— за все он отомстит...

Человек, качаясь, плывет на плоту, и в его теле тлеют

последние желания. В глазах его, серых и глубоких, одно неумирающее желание: жить... Вновь в утренних звездах рождается белый коршун. Он растет стремительно, как в кинокартине, но человек поглощен только одной мыслью: жить!

— Жить...— просят его черные, запекшиеся губы.

И когда катер подбирает его у берега, моряка беспокоит только этот призрак, что кружится над ним,— белый призрак смерти.

Краснофлотцы бережно переносят его в рубку.

— Крепок, братишка...— говорят они почтительно.— С какого корабля, товарищ?

Вперив взгляд в голубой потолок каюты, он закрывает глаза и тихо говорит:

— Коршун проклятый кружится...

Моряки понимающе переглядываются.

— Не выдержал,— говорит один из них.

— Я теперь все выдержу...— тихо говорит раненый, и в голосе его звучит такая убежденность, что в каюте на мгновение становится тихо.— Дайте мне пить,— добавляет он уже спокойным и деловым голосом.

Вздохнув, он обводит каюту спокойным, счастливым взглядом.

— Спасибо, ребята! Было бы очень обидно, если бы я утонул. А мне так много еще надо сделать, что даже слов не найдется столько.

И с жадностью хватает стакан прохладной и прозрачной воды.

КОГДА ПРИЛЕТЯТ СКВОРЦЫ

Последняя авиабомба рухнула с холодного поднебесья. Последний самолет покрутился над селом и, сбитый тремя пулеметными очередями, вспыхнул в смертельном пике.

Дед Архип натянул лямки саней и перекрестился:

— Все так подохнете. Все!

Село лежало за березняком. Родное село. Разбитое село.

— Не плачь, старуха... Все наживем! Все!

Тоскует женщина. Она знает, что нет ее дома, нет бани, нет колодца. И все-таки идет. Об огороде мечтает. О новой жизни — такой же хорошей, как до войны. Великая тоска по родимой сторонушке гонит ее печальными дорогами войны обратно в свою Сосновку.

— Не горюй, старуха! — шепчет Архип.

Легкий ветерок доносит едкий запах тротила. Воронка еще дымится. Тонко гудит оцепеневшая земля.

Но лес стоит прежний, заиндевевший, и цепочка следов вьется меж стволов берез.

— Даже зайцы к войне привыкли, не вакуировались,— говорит бабка. И морщины на ее лице начинают постепенно разглаживаться.

Она с надеждой всматривается в февральское небо, белесое, студеное, родное. Вот минет лесок, и село будет видно.

— Картошку-то я хорошо упрятала... Может, не нашли ее, не разворовали. Топор-то ты не забыл?

— Нет,— говорит Архип,— и пилу не забыл, и молоток, и гвоздочков фунта три. Хватит пока.

Построит дед Архип пока хибару. А потом вернется колхоз из Рязанской области. Пригонит председатель Марина коров-холмогорок, лошадей. Новые дома выстроят мужики, а когда весеннее солнышко поднимется над лесами, кузня заработает. Будет кузнец ковать лемеха, направлять машины — и душе сразу потепление придет.

— Устала, старуха?

— Оброс ты, отец,— тихо говорит женщина.— Вон сколько седых волос-то появилось!

Скрипят тяжело груженные сани. Двести верст они проскрипели вслед за наступающей армией. Натерли лямки плечи. Лошадь бы... Но Архип отказался от лошади. Она колхозу сейчас нужна, а ждать, когда двинут мужики в обратный путь, он не мог. Сон потерял. Ворочаясь на печи всю ночь, вспоминал родимую сторонушку.

— И хлевушок небось разбомбили,— говорил он.— Теплый хлевушок был! Проконопаченный, с полом!

— Да спи ты! — просила женщина.

Архип ненадолго замолкал, а потом опять:

— Избу-то мы вместе с отцом еще строили. А дед сидит поодаль на сосновом обрубке и советы отцу дает: «Паз-то проконопать получше. Паз-то...»

Бледные звезды проступают в вечереющем небе. Метет поземка. Шумит лес...

— Так им и надо! — говорит старик и показывает глазами влево.

Заметает снег на взгорочке аккуратные ряды крестов со стальными касками наверху, с надписями на немецком языке.

Глухо шумит лес. Багровый месяц качается над горизонтом.

— Как тихо здесь стало! — говорит женщина.— Надо бы подождать наших. Все-таки повеселее было бы.

— Это вечером так. По утрам будет лучше,— почему-то говорит Архип, и лицо его сереет от горя.

За последним леском он видит разрушенную, догорающую Сосновку. Сизый дым стелется по снегу, и только печи, только черные трубы маячат на месте изб.

Архип выпутывается из лямки. Долгим, немигающим взглядом смотрит на родное село, и слезы застилают глаза...

— Не надо! — обнимает его женщина настойчиво и ласково.— Бог с ней, с избой. Наживем!

Молчит старик. Это вовсе не бессилие. Сжимает Архип кулаки и, забыв о санях, один идет по селу, превратившемуся в кладбище. Женщина тащит сани вслед за ним. Плачет.

Молчит старик.

Нет школы, нет клуба, нет домов, в которых жили люди... Только ветер несет снежные космы меж обугленных печей.

Вот и родная ветла. И кирпичи, и чугунный котел с выщербленным краем у крыльца валяются. Сгорел дом.

Только старая покосившаяся баня стоит позади, в огороде. Кому она нужна?

— Батюшки мои, баня! — изумленно шепчет старуха.— Баня!

Старик падает наземь и целует свою землю, на которой родился, на которой помереть мечтал.

Встает он уже спокойный и деловитый. Утирает лицо рукавицей, широко раскрывает двери:

— Иди, старуха.

По нетронутому снегу утопают сани. Прядь волос прилипла к потному лицу женщины.

— Хоть старая, да теплая конура,— говорит она, и ловкие руки ее начинают разматывать поклажу, горшки, постель, ухваты.

Архип берет топор. Он рубит остатки изгороди, собирает головни, складывает их у порога.

— Протопи ее. Чайку согрей.

И, пока женщина растапливает печку, дед раскапывает старыми вилами навозную кучу на огороде. Улыбается, когда под мерзлым навозом начинают отливать желтые пласты овсяной соломы. Под соломой — толстые половые

доски над погребушкой. Не догадались немцы. Не сожрали. Стучит сердце от напряжения. Скрипят доски. Открывает погребушка свой теплый зев.

— Помогай, старуха! Чуть плесенью покрылось твое немудрое хозяйство — почистишь. А сало цело, и картошка цела. И муки хватит до нового урожая.

Тихо улыбается женщина: «Не нашли!»

— А я для тебя и водочку там прятала. Давай-ка сама найду.

И женщина вынимает из-под кучи тряпья бутылку московской водки.

— Думала, приедем — выпьешь на радостях... Вроде чуяла, что вернемся.

Ахает старик от изумления. Важничает. Рассматривает на свет:

— Довоенная!..

А в бане уже тепло. Семилинейная лампа горит перед плотно занавешенным окном.

И на сундуке скатерть. Много лет она лежала в сундуке, появляясь только на свадьбах сыновей и дочерей, и теперь вот опять появилась, белая, с голубыми разводами. Чем не стол!

Забытым уютом и листвой березы пахнет баня. Аккуратную печку выложил когда-то дед.

— Умел строить, любил попариться,— задумчиво улыбается Архип и неотрывным взглядом следит за бойкими руками жены, орудующими сковородкой и ухватом.

— Ты бы хоть платье-то новое надела. Хоть худой дом, да свой. Без немца.

И старуха не перечит. Она уставляет стол картошкой, поджаренной на сале, капустой, щами:

— Ешь, старый! Хватит. Отгоревались.

И Архипу действительно кажется, что он отгоревался. Он пьет лафитничек, другой и мечтает. Скорее бы утро наступило. Остер топор. Какую хату строить — прикидывает. Маленькую надо, но светлую, с большими окнами и тесовой крышей.

А чтоб крыша не гнила, он просмолит пазы. Вернутся сыновья с войны — помогут, а пока можно бревна готовить.

Сладкая истома овладевает телом. Старик ложится на полок и засыпает.

Просыпается он на заре. Утреннее солнце играет на боках чайника. Тишина.

— Что ж ты меня не разбудила? — ворчит он добро-

душно на старуху и, накинув полушубок и прихватив топор, выходит на улицу.

Тишина очаровывает его. И, хотя, как и вечером, чернеют в глубоких снегах печальные остовы труб, Архипу уже не грустно. Он видит ветлу перед сгоревшим домом, видит скворешню, повешенную еще его старшим сыном, и, выругавшись крепким словом по адресу немцев, весело подмигивает себе:

— А ну, с богом!

И подходит к трем бревнам у бани, запорошенным снегом. «На нижнее венцо пригодятся»,— думает он, пробует обухом звенящее дерево, и кажется ему, что до весны совсем недалеко и что скоро, совсем скоро прилетят скворцы — самые радостные птицы на свете.

ГВАРДИИ БАРАБАНЩИК

В один из буранных зимних дней, когда ветер метет и завывает в степи, как стая голодных волков, красноармеец Остап Вернигора, находившийся в сторожевом охранении своей роты, заметил вдруг в стороне противника маленькую черную точку, показавшуюся ему подозрительной. Точка эта не стояла на месте, а двигалась, то пропадая, то вновь появляясь на снежном поле.

«Разведчик-гад. Ох, уж я тебя и встречу!» — подумал Остап, сжимая в руках винтовку.

Руки его застыли от холода, глаза от напряжения слезились. Теперь уже ясно было, что из расположения противника к нашим позициям ползет человек.

Точка все росла и росла, и когда фигура ползущего человека с каким-то грузом на плечах стала отчетливо видна, руки Остапа не выдержали. Он вскинул винтовку и щелкнул затвором.

Вдруг вдалеке раздался детский плач, и поземка донесла до Остапа тихий, жалобный голос:

— Дяденька, не стреляй!.. Дяденька!..

Остап опустил винтовку, вскочил и побежал в ту сторону, откуда шел этот плачущий, жалкий голосок. Он увидел на снегу тринадцатилетнего мальчика с обмороженным, белым, как снег, лицом и маленькую девочку на его спине.

— Ты чего здесь? Кто ты такой? Чего под пули лезешь? — сердито спросил у мальчика Остап.

— Я — Мишка, дяденька,— ответил мальчик.

— Какой Мишка?

— Мишка... Сосенкин.

— А это чего?

— А это — Варенька, сестренка моя. Я уж который день ее на себе несу. Не гоните нас, пожалуйста, дяденька. Варька, небось, все ножки себе обморозила.

Мишка бережно опустил девочку на землю и с надеждой посмотрел на Остапа.

Остап растерялся от этой неожиданной встречи и не знал, что делать. На счастье, в это время пришла смена караула. Остап сдал пост, сгреб обоих ребят в охапку и побежал к блиндажу.

У входа в землянку Остап крикнул часовому:

— Сестру скорее! Обмороженные дети...

Прибежала сестра. С помощью Остапа она раздела в теплой санитарной землянке ребят, принесла спирт, и Остап, едва дыша от волнения, стал оттирать помороженные ступни девочки, ее личико, руки. Сестра тем временем растирала Мишку.

— Ой, больно, дяденька! — заплакала вдруг девочка.

— Больно? Это хорошо, если больно,— радостно рассмеялся Остап.— И ножкам больно?

— И ножкам больно,— сказала девочка.

Когда сестра убедилась, что девочка окончательно спасена, Остап унес ее к себе в землянку, где товарищи его уже приготовили мягкую постель на широких солдатских нарах.

Жарко дыша, бойцы обступили Остапа с девочкой на руках. Они улыбались ей, угощали ее кто чем мог: кто кусочек сахару принес, кто печеньице. Игрушки у них тоже нашлись: карманное зеркальце, две звездочки с офицерского погона, пулеметные гильзы. Бойцы смеялись, и девочка отвечала им широкой признательной улыбкой.

— А как тебя звать? — спросил кто-то.

— Варя Сосенка,— тихо, но отчетливо сказала девочка.

— Сосенкина,— поправил ее Мишка.— Фамилия такая.

— Сосенка,— повторила Варя и вдруг крепко обняла Остапа и поцеловала его в лоб.

Густой румянец залил щеки Остапа.

Бойцы притихли и разошлись по своим местам, издали наблюдая, как Остап кормил ребенка с ложечки, как поил чаем, а укладывая спать, рассказывал сказку о Волке и Красной Шапочке.

Мишка тем временем перезнакомился со всеми бойцами.

Он рассказал о том, как тяжело было пронести Вареньку мимо немецких постов, как она боялась в лесу волков, как просила все время есть и как он кормил ее мороженой картофелиной, которую нашел на дороге и которую Варенька так и не смогла съесть.

Девочка заснула, и к беседующим подошел Остап. Он положил тяжелую ладонь Мишке на плечи и сказал:

— А теперь пойдем к капитану: ему тоже интересно послушать.

Мишка думал, что капитан — это очень важный и строгий начальник, потому что о нем гворили все с уважением, а оказалось, что это маленький, чуть близорукий веселый человек.

— Чуть ошибки не вышло, товарищ капитан,— сказал Остап, показывая на Мишку.— Вижу, несет что-то на спине. Ну, думаю, диверсант с динамитом ползет. Чуть не подстрелил их, товарищ капитан.

— Это ты умеешь...— усмехнулся капитан.— Ну, как дела, орел? — обратился он к Мишке.

— Теперь-то, спасибо, все хорошо. Варенька спит, умытая, одетая, под одеялом. А вот что было...

И он уже начал было рассказывать о своем горе, о том, как пришли в Боровинку бронемашины и танки, но капитан перебил его:

— А между прочим, ты кофею с сахаром хочешь?

Мишка растерялся:

— Кофею? С сахаром? Да я ведь не маленький. Мне и хлеба хватит. Вот если Вареньке на утро оставить...

— И Вареньке оставим,— сказал капитан и велел Остапу принести из кухни котелок кофе, а сам стал расспрашивать Мишку о том, что он думает дальше делать.

— А я и не знаю,— сказал Мишка.— Если не прогоните, поживем немного у вас, а потом пойдем дальше. Я на работу поступлю, а Вареньку пристрою к какой-нибудь тетеньке. А прогоните вы немцев — домой пойду, землю буду пахать в колхозе, огород засажу. Мамка семена хорошо упрятала, их не найдут немцы. А потом тятька с войны вернется, и все будет хорошо.

— Да, ты мужик с умом,— сказал капитан,— с тобой не пропадешь.

Мишка замолчал и задумчиво посмотрел на капитана.

— А может, и вы мне работенку какую дадите? Я ведь все, что хочешь, могу сделать, если меня подучить. Когда у нас в деревне часть стояла, я даже на барабане играть обучился.

Капитан улыбнулся:

— Вот оно как! Ну, что ж, барабан — это дело. Вон Остап Вернигора тоже когда-то барабанщиком был, а потом снайпером стал.

Капитан вытащил из чемодана банку сгущенного молока, баранки, кулек с конфетами и стал угощать Мишку.

— Пей! А потом поговорим.

Мишка допил последнюю кружку кофе, перевернул ее кверху донышком и погладил себя по животу.

— Вот это ладно,— сказал он,— теперь я хоть сто верст пройду.

— Сто не сто, а двадцать придется пройти,— улыбнулся капитан.— Ну, а теперь рассказывай.

Мишка обтер ладонью губы и начал рассказ, а капитан отмечал синим карандашом на карте.

— В Осиповке, говоришь, батарея и госпиталь? Так, так. А в Воскресенском — склад? А ты не помнишь, с чем он? Снаряды? Точно снаряды? Сам видел? Ну, так и запишем.

Капитан помедлил немного и закурил папиросу.

— А ты, Мишка, храбрый?

— Храбрый,— сказал Мишка.

— А ночью?

— Ночью хуже,— сказал Мишка.— Да только я и ночью немцев не боялся: около самых ихних землянок мы с Варенькой шли.

— Так и запишем,— сказал капитан и вновь склонился над картой.— Расскажи мне теперь про свою деревню.

...До поздней ночи засиделся Мишка у капитана, а когда вернулся в блиндаж, то увидел на своей койке красноармейскую шинель, сапоги, белье.

— По приказу начальства тебе,— сказал Остап.— А Варюську мы утречком в глубокий тыл эвакуируем, сам майор распоряжение отдал. Спи пока.

— Не хочется,— сказал Мишка.

— Что? Не уморился разве? — удивился Остап.

— Умориться-то — уморился, — вздохнул Мишка,— да я все думаю, а вдруг немцы хату спалят, а вдруг мамку убьют...

Он помолчал, лег и натянул одеяло до подбородка. Остап тоже лег по соседству и готов был уже захрапеть, когда Мишка приподнял голову и сказал:

— А вы знаете, дяденька Остап, барабанщиком интересно быть, да только, я думаю, у меня не выйдет.

— Это почему же? — удивился Остап.— Ты же учился, говоришь?

— Учиться-то учился... Да ведь я на простом барабане учился. А у вас гвардия. У вас, наверно, и барабан не такой.

— Нет,— зевая, ответил Остап,— барабан у нас обыкновенный. Вот погоди, война кончится, тогда мы снова оркестр из цейхгауза вытащим. А тебя в барабанщики зачислим. Я к тому времени буду гвардии лейтенантом, а ты — гвардии барабанщиком. Идет?

— Ладно, идет,— сказал Мишка. И оба они захрапели.

Так стал жить в гвардейском полку Мишка Сосенкин, гвардии вольноопределяющийся тринадцати лет от роду.

Однажды Остап пришел от капитана веселый. Он получил приказ пойти в глубокий тыл врага и взять Мишку в проводники. Друзья ушли и пропадали целую неделю. И всю неделю волновались товарищи за Остапа и Мишку. Без них как-то тише и скучнее стало в блиндаже. Только на восьмые сутки разведчики вернулись.

— Ну как? — обступили их бойцы.

Остап улыбнулся таинственно и пошел к капитану.

А еще через час над гвардейскими укреплениями взмыла к небу зеленая ракета, и армия по всему фронту перешла в наступление.

— Ох, и весело сейчас у гадов! Они в машины, а моторы не заводятся. Они в склад, а там мины рвутся...

...В эту ночь, ломая оборону врага, давя гусеницами артиллерийские расчеты, часть прорвалась на тридцать километров вперед. Только к утру наступило затишье.

— Вот и твою деревню прошли, Михайло,— сказал капитан, усаживая Мишку в свою автомашину,— завтра дальше пойдем. Так, что ли?

— А можно мне домой сбегать, мамку повидать? — сказал Мишка.

— Соскучился? — усмехнулся капитан.

— Мамка соскучилась,— ответил неопределенно Мишка.— Плачет, небось, все время...

— Нет, твоя мамка не из таких. Она одного немца в подвале приперла, чтобы больше воровать не зарился. А вот насчет тебя просила — откомандировать в ее распоряжение.

— Как? — испугался Мишка.— А как же война? Значит, без меня?

Капитан сделал виноватое лицо.

— Я уж говорил ей. Уговаривал. Нельзя нам, говорю,

без Мишки, некому будет в разведку ходить, некому кашу сварить, да и снайперу Вернигоре будет скучно, а она все на своем: «Пусть домой идет, и в колхозе дело найдется».

— Это конечно,— вздохнул Мишка.— Без мужчин в колхозе трудно.

Капитан молчал. Молчал и Мишка.

— Ну, что ж,— сказал он наконец,— я поеду домой, а только жалко мне моей должности: я ведь на барабане хотел играть. Думал в Берлин впереди строя войти.

Капитан улыбнулся и подал Мишке руку.

— Ты не думай, я ведь тебя не совсем увольняю. Я тебе отпуск даю. Когда надо будет, позовем.

...Есть в донецкой земле маленькое село Боровинка, в котором живет школьник Миша Сосенкин, и славится это село тем, что ребята в нем здорово работают. И пашут, и боронуют, и сеют хорошо, а бригадиром у них Миша. С утра до позднего вечера он в поле, а когда наступает вечер, Мишка вынимает из-за пазухи письмо в истертом конверте и долго разглядывает его.

Это письмо начинается словами:

«Гвардии барабанщику Михаилу Сосенкину». И написано оно Остапом Вернигорой, который рассказывает другу о том, как гонит он немцев на запад, к Берлину, а Мишку просит лучше работать в поле, чтобы хлеба было вдосталь, чтобы Варенька, которая теперь снова живет дома, ни в чем не нуждалась, а росла и толстела.

СЫН ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

Вечерами дед подолгу смотрит на горизонт, заслонясь ладонью от солнца, и говорит медлительно и тихо:

— Чево-то закат квелый, Левонтий. С проседью. Сеногноем бы не потянуло.

Дед больше всего на свете боялся сеногноя, заботился о сенокосе, жил страдою и даже сны такие видел: косит будто сено, а стога волки поедают.

— И приснится же такая нечисть,— бормотал дед, просыпаясь.

Сегодня старик был задумчивее прежнего. Закат совсем опечалил его, и, пока Левушка ловил хариусов в Иструти, а потом варил уху на таганке, дед успел выстроить шалаш, накрыть его свежей травой, а чтобы спать было удобнее, пол шалаша покрыл мягкими веточками пихты.

Уставший, озабоченный, он подошел к костру и еще раз

посмотрел на закат. Тонкое лезвие зари рассеяло синюю тучу на горизонте, и дед вновь вздохнул:

— Ишь ты, какая пакость-то ползет!..

Левушке стало жаль деда. Над долиной уже опустилась роса, и пахло золотистым лютиком, свербигой, кварцевыми россыпями, и ничто, как и прежде, не предвещало плохой погоды. Только, может быть, воздух был чуть удушлив да стояла удивительная тишина.

— Может, ее еще раздует ветром,— сказал Левушка.

Дед промолчал и ушел в свой шалаш. Когда он вновь подошел к костру, в его руках был недоплетенный лапоть. Дед еще в прошлое воскресенье начал его, но сердце его болело за погоду, и он никак не успевал доплести. Засыпал у костра.

Сняв котелок с таганка, Левушка поставил его на траву, мокрую от росы, и пошел к кленам. Овчарки сонными глазами проводили его к опушке леса, потом вскочили и побежали за ним, обошли отару, косясь на клены и березы, до колен залитые вечерним поздним сумраком.

Закончив обход, овчарки легли у костра, томительно зевнули и закрыли глаза.

— Поедим, деда,— сказал Левушка,— мне что-то есть хочется.

— Ешь на здоровье,— сказал дед, и в голосе его была доброта и дрема.— Отъедайся после Питера. Слава богу, питания здесь хорошая. Без немцу.

— Я ведь из Новгорода,— задумчиво сказал Левушка.— Это совсем другой город.

— А ты лучше не думай об этом. Погоревал — и хватит. Может, осенью наши отобьют его. Должны бы.

Дыхание слабого ветерка ощущает лицом Левушка. Ветерок пахнет горами, лабазником, дикой акацией.

— У вас здесь хорошо, деда,— тихо говорит Левушка.— Мне здесь очень нравится.

— А какое здесь сено-то! Какое сено! — говорит дед.— В жизнь ни на что такое сено не променяю. Шутемное. Если бы заграница знала о таком сене, от нее бы отбою не было.

Левушка задумчивым, мечтательным взглядом обводит горы, прислушивается к далекому щебету родничка, смотрит на звезды и долго не может оторваться взглядом от них.

— Такие же, как у нас, в Новгороде.

— Ты ешь-ко, айда,— с грубоватой нежностью говорит дед.— Остынет щарба-то.

Уху дед по-уральски называет «щарбой», а вместо «скорее» говорит «айда».

Левушка не торопясь ужинает. Он ест душистую уху, приправленную по совету дедушки какими-то кореньями, и пьет густое прохладное молоко.

— Я никуда теперь отсюда не уеду,— говорит Левушка,— мне здесь очень нравится.

Деду приятна эта похвала, но он всегда любит возражать.

— Конешно, если у костра сидеть сложа руки, оно, может быть, и ничего, а вот если страдовать, к примеру, то мало радости. Весь потом изойдешь. От зари до зари. Или зимой за дровами в мороз ехать. Крестьянская жизнь нелегкая, Левонтий. Ох, нелегкая!..

Левушка с уважением слушает деда, и тому становится стыдно за то, что он как бы хочет сказать, что городскому мальчику никогда не устоять перед деревенским. И дед торопливо добавляет:

— Ну, хоть наша работа трудная, зато радостная. Все-то у нас есть. И пчелы у колхоза есть, и овец четыре сотни с половиной, и МэТэФа большая. Ни в чем отказа нет.

— А ты любишь, дедушка, горы? Я очень люблю горы,— говорит Левушка,— только мне боязно змей и волков.

— А чего их бояться? — говорит дед.— Они тебя должны бояться, а не ты их.

Левушка не ответил. Он слушал пение родничка, и шорох серебряной листвы осинника, и дыхание овечьей отары. Отблески пламени падали на тяжелые рога барана, и золотые точечки дрожали в его тупых и выпуклых глазах. Левушка вспомнил свой город, своего умершего деда, и губы его дрожат, и слезы спазмами сжимают горло.

— А ты не думай об этом, Левонтий,— говорит дед.— К слову сказать, жизнь прожить — не поле перейти. Вот даже овца — она и то, наверно, волнение имеет. Очень уж у нее сердце слабое. Поймаешь ягушку, а сердечко у нее так бьется, вроде кто-то быстро молоточком по наковальне бьет. Тук-тук-тук.

Дед кладет на колени доплетенный лапоть и долго смотрит на огонь.

— А животная страсть полезная. И тебе шкура, и тебе шерсть, и тебе мясо. Ба-альшой талан надо иметь, чтобы ягушку в овцу вырастить. Вот я десять лет в чабанах хожу, а тебе признаюсь — не хватает мне талану. И уж что я ни читал! Книг десять прочел про овец. Толстые книги, по сто страниц даже попадались, а все никак не могу понять, в

чем корень ихнего существа. Почему одна овца с норовом, а другая нет. Почему одна быстро нагуливается, а другая на квелость переходит. Вот и рассуди тут, как хочешь. Кому что на роду написано. Профессия, стало быть.

— А инженером тоже хорошо быть,— сказал Левушка.— Мой папа все время путейским инженером работал.

— Если бы мне грамоту,— вздохнул дед,— я бы все науки превзошел. Я бы, может, даже через микроскоп разную бактерию высматривал. Которая зловредная, ту к ногтю, а которая с пользой — ту на развод. Есть же такая работа?

— Это в лаборатории,— сказал Левушка,— у разных ученых.

— То-то и оно,— удовлетворенно сказал дед и приступил к ужину. Дед любил печальную песню «Лучинушка». Перед сном у костра он мурлыкал ее, и Левушке полюбились грустные слова этой старой песенки:

Горит, горит лучинушка,
Горит, трещит сосновая.
Сидит в избе хозяюшка,
Как ноченька, суровая.

— Вот что значит сиротская доля,— говорил он, допев песню.— Плохо без отца, без матери. Вроде как скворцу без скворешни.

Дед вырос сиротой, и, когда Левушка с матерью приехали с запада, перейдя линию фронта, мальчик с рябым лицом и мужицкими серьезными глазами удивительно полюбился деду. Так стал Левушка чабаненком, а мать стала работать учительницей в школе. Левушка так привык к лесу, к ягнятам, что не уходил домой даже в воскресенье, чтобы повидаться с матерью, и она сама навещала его. Она приносила свежих пирогов, меду, а деду нюхательного табаку.

— Ну, как сын Великого Новгорода работает? — спрашивала она, ласково ероша жесткие волосы Левушки.

Дед долго нюхал табак, посматривал лукаво на Левушку, а потом с важностью в голосе отвечал:

— Работает согласно уставу. Все в исправности, кнут ремонту не требует, ягнята не теряются, на работу имеет злость и прилежание, вроде как бы испокон веков чабаном был.

— Ишь ты как, Левушка! — говорила мать.— Может, и меня в помощники возьмете?

Дед улыбался в бороду и качал головой:

— Смысла нет.

— То есть как? — удивлялась учительница, и ее серые глаза искрились смехом.

— Кто же пироги тогда нам таскать будет? И табачок...

Вечером они втроем подгоняли отару к шоссейке и, подняв руку, останавливали какую-нибудь грузовую машину. Дед сам усаживал Левушкину мать в кабину и говорил шоферу:

— Айда! Трогай! Только не растряси нашу учительницу, сукин сын. Знаю я вас, зимогоров!

...Тесно прижавшись друг к другу, лежали овцы. Овчарки изредка обегали отару и вновь возвращались к костру, успокоенные тишиной; только загривки их изредка ерошились жесткой шерстью. Собакам мнились в ночи волчьи стаи, хоть в это время года волки редко беспокоят стада. Им хватает дичи и без ягнят.

— Пойду, посплю немного, Левонтий,— сонным голосом сказал чабан.— Или ты отдохнешь?

— А я и не устал,— сказал Левушка,— это же ведь не работа.

— Скоро ты другое скажешь,— улыбнулся одними губами дед.— Вот начнется гроза, тогда ты узнаешь. Намаешься. Смотри только к болоту не пропускай. Если что — разбуди.

— Хорошо,— сказал Левушка,— я разбужу.

Дед ушел спать, а Левушка вновь подбросил в костер смолевых сучков и, опустившись на спину, стал смотреть в небо. В узкие прозоры меж туч еще светили звезды, крупные и яркие. Все удушливее и недвижимее становился воздух, и от этой предгрозовой тишины замолкли даже ночные птицы и перестала плакать выпь в болоте.

Собаки открывали рты, и тонкие языки их подрагивали, точно от сильного бега.

Еще теснее прижались друг к другу овцы, и ягнята спрятали свои белые мордочки у матерей под боком.

Утомленный ночной духотой, Левушка невольно закрыл глаза и задремал. Далекий и глухой раскат грома прогудел где-то за горизонтом. Потом еще удар, и, когда Левушка открыл глаза, острая молния рассекла надвое небо над его головой.

Гром оглушил его, и на вершине одной из сопок ярко вспыхнула сраженная молнией старая лиственница...

Овчарки с воем отпрянули от костра и ринулись во тьму. Точно от удара из-под земли вскочила овечья отара и, расколовшись на косяки, заметалась по поляне.

— Дедушка! Деда! — закричал Левушка, хватая кнут

и кидаясь наперерез сотне овец, покатившейся к болоту.

Дед вышел из шалаша встрепанный и сердитый, и от его крика еще усиленнее залаяли овчарки, тщетно пытаясь вновь сбить отару. Они хватали за ляжки овец, налетали на них ураганом, сваливая грудью и отгоняя от леса, но обезумевшие животные с жалобным блеянием убегали в лес, опережая и овчарок, и деда, и Левушку.

Передовой баран с косяком овец рванулся прямо на Левушку, сбил его своими рогами и, перемахнув через пенек, скрылся во тьме. Левушка не успел подняться. Около десятка овец прокатилось по нему, и только счастливый случай помог ему встать. Вновь раскололось небо от алой молнии, и овцы на мгновение в страхе припали к земле. Левушка вскочил и со злости ожег кнутом барана. Тот покорно повернул обратно, но ягнята, бежавшие за ним следом, уже проскочили узкой тропой в болото. Не менее двадцати ягнят.

Левушка заплакал от обиды. Он отогнал овечий косяк обратно в долину, передал его овчаркам и побежал к болоту.

Молния в третий раз осветила стежку, и далеко впереди Левушка увидел белых ягнят, в страхе несущихся к топи.

— Дедушка! Деда!— закричал Левушка, но гром заглушал его слова, а слезы мешали отчетливо видеть дорожку.

Рубашка на Левушке была изодрана в клочья. Бока, лицо и руки были в крови, но Левушка не замечал ничего этого. Он не чувствовал боли и, чуть пригнув голову и выставив вперед руки, пробирался сквозь кусты, ощущая ногами зыбкую трясину.

Он упал от изнеможения, когда в лиловом свете молнии увидел на островке восемь ягнят и трех овец.

Ударил ливень, крутой и тяжелый, какой бывает только в Уральских горах, и Левушка упал в вязкую трясину недалеко от островка...

Сквозь глухую тьму он слышал лай собак, ласковый, зовущий крик деда, блеяние испуганных овец... Но потом все потухло, и он потерял сознание.

Очнулся он от ощущения тяжести в ногах. Трясина засасывала его. Островок с ягнятами становился все меньше и меньше.

И Левушка, стиснув зубы от ярости, сделал последний рывок и освободился от трясины. Голова его кружилась, но он все-таки доплыл до островка, и ягнята ласково

уткнулись мордочками в его лицо, точно благодарили за мужество и за то, что он их спас от смерти.

Зеленые круги лихорадки медленно опускались с неба и давили грудь Левушки, распластанные руки его, но даже сквозь забытье мальчик помнил о том, что вода прибывает и что островок уменьшается с каждой минутой. Вода, шелестя и захлебываясь, бурлит вокруг острова, скрывая узенькую тропку к долине с отарой.

И Левушка, будучи не в силах открыть веки, переворачивается на живот и становится на колени. Лесок за болотом качается в его глазах. Уже светает. Ягнята трутся мордочками о его колени.

Левушка берет двух ягнят под мышки и, шатаясь, идет по тропе, утопая в воде по пояс. Потом он возвращается обратно и повторяет свой рейс. Когда он переносит последнего ягненка, из-за гор уже выходит солнце, и овцы сами переплывают к лесу, покидая затопленный островок. По запаху следов овцы уводят ягнят к отаре, и Левушка устало улыбается тому, как мелькают их черные каракулевые хвостики меж листвы.

Левушка подходит к огромному плоскому камню, ложится на него спиной и опускает веки. Доброе горное солнце убаюкивает его, как песенка матери, и все страдания прошедшей ночи уходят постепенно из его тела. Хочется только спать, спать, спать...

Просыпается он от счастливого голоса деда:

— Левонтюшка,—говорит дед, и губы его дрожат от долгой тревоги и радости,— я все леса обегал. Искал тебя, искал... Думал, ты утоп. А ягушечки ведь ни одной не пропало.

— Я знаю,— улыбается Левушка.— С чего бы им пропадать! У нас как по уставу. Сколько было, столько и будет.

И, опираясь о руку деда, он идет к долине и с жадностью пьет прямо из бутылки студеное молоко, закусывает хлебом, а потом смотрит на горы и улыбается мечтательно.

— Как хорошо-то здесь, дедушка! Горы. Реки. Овцы. Я хоть всю жизнь чабаном могу быть.

— У тебя есть талан,— говорит дед,— а вот рубашки-то нет...— И улыбается, ласково поглядывая на Левушкину рубашку, не выдержавшую испытания этой боевой ночи.

ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС

Степан Кузьмич прикрутил фитиль сигнального фонаря и наклонился над письмом.

«Федя! Сыночек мой! Теперь я остался совсем один. Мать похоронили после первого налета. Она посылку тебе сготовила, носки теплые да варежки, так что теперь не замерзнешь там, на позициях. Жалко мне мать, а может, и лучше, что она умерла, мучений не увидит. Коля наш ушел в партизаны, а я отказался...». Ложатся неровные строчки на листок бумаги. И думает старик о том, как удастся ребяткам переправить письмо через линию фронта.

«Теперь Петру надо,— подумал Кузьмич.— Пусть не беспокоится».

Петр тоже работал когда-то на станции. Это он был десятником, когда через реку начали строить железнодорожный мост. Он хорошо строил этот мост, а потом, шесть лет спустя, стал инженером.

Степан Кузьмич разглаживает помятую бумагу и вздыхает. Потом поднимает голову и смотрит на печь, где спит кочегар Ильюшка.

Ильюшка пришел из деревни навестить Степана Кузьмича и, если можно, сманить его со станции. Теперь Ильюшка спит и видит, наверное, сны.

«Разбудить его, что ли? — подумал Степан Кузьмич.— Может, это он просто сам надумал?»

— Ильюшка,— тихо и смущенно позвал он кочегара.— Скажи, Ильюшка, может, это неправда?

Парень завозился, поднял над подушкой свою кудлатую голову и сердито ответил:

— Надоел ты, дядь Степан,— сказано — и баста!

— Сказано, сказано,— проворчал старик.— Только что сказано — неизвестно.

А парнишка повернулся на другой бок и тут же заснул.

— Даже поговорить лень,— обиделся Степан Кузьмич. Подержав на кончике языка огрызок карандаша, он старательно вывел на бумаге первое слово:

«Петя!»

— И какой-то ты сонный,— сказал он кочегару.— В мирное время спал, спал, не выспался. Теперь спишь.

Но Ильюшка не отвечал.

Степан Кузьмич вздохнул и продолжал письмо:

«...А мост твой, Петя, Колька хочет взорвать. Говорит, что так надо, чтобы немцам дорогу нарушить. Я и сам знаю, что надо, а только обидно, что ты строил, строил,

тебе награду за него дали, а он подложит динамиту — и нет моста. Я все время думаю об этом, и мне не спится. И если бы мать была жива, она тоже не спала бы. И обижалась бы на Кольку».

Листок кончается, и старик думает о том, как умирала мать, как будут плакать ребята, когда узнают про это.

Косые тени падают от веревки, на которой висят Ильюшкины портянки. И, когда старик вздыхает, пламя у лампочки в фонаре удлиняется и тень на стене тоже становится длинной и кривой. Шуршат тараканы в углах, попискивают мыши в подпечье, и все это расплывается в сознании Степана Кузьмича, когда он вспоминает старуху. Тихие слезы заливают ему глаза.

«Ребятки мои милые»,— думает старик и отодвигает от себя письмо, чтобы на нем не остались слезы.

Далекий голос паровоза отвлекает его внимание. Паровоз, как малое дитя, на что-то жалуется. Голос его слабеет, становясь все беспомощней и тоскливей.

— Замучили машину, затаскали, гадюки,— шепчет старик и, навалясь грудью на стол, торопливо заканчивает письмо. Потом берет конверт и медленно выводит на нем адрес сына. Обратный адрес он не указывает. Все равно никто не сможет ответить ему до тех пор, пока не прогонят немцев.

Старик отодвигает краешек занавески и смотрит на улицу. За водокачкой встает чистое и медлительное утро.

— Вставай, Ильюша,— говорит старик,— торопись.

Кочегар минуту сопит. Потом он опускает босые ноги и левой рукой снимает портянки со шнурка.

— Так как же? — спрашивает он.

— Никак,— говорит старик,— все равно никуда не пойду.

— Значит, остаешься?

— Нечего меня уговаривать,— хмурится старик. И, прикрутив фитиль лампочки, дует на огонек.

— Ну, прощай,— сердится кочегар, пряча письма в подкладку фуражки,— только я-то уж знаю, что мне теперь попадет за тебя. Скажет, уговорить не сумел... А насчет моста ты уж не сомневайся,— добавил он,— придется взорвать. Дело такое.

— Я и не сомневаюсь,— говорит Степан Кузьмич.— Только я никуда не пойду.

— А если тебя убьют?

— Им нет выгоды меня убивать,— убежденно отвечает старик и угрюмо смотрит в окно.

Кочегар тихо уходит.

Степан Кузьмич взбирается на полати. Он долго ворочается там и никак не может уснуть. Вспомнился вдруг Остап, его напарник. Остапа вызвал комендант станции и предложил вести состав до следующего перегона. Машинист наотрез отказался.

— Что скажут люди про меня? — сказал он коменданту с тоненькими усиками и бледным одутловатым лицом.

Остапа повесили у водокачки. Ночью кто-то снял его труп, а поезд по-прежнему не ушел со станции.

Комендант угрожал пистолетом, бегал по железнодорожному поселку, искал машиниста. Люди молчали. Никто не выдавал Степана Кузьмича. Никто не сказал, что он был когда-то машинистом и ему жал руку в Кремле Михаил Иванович...

Забылся, наконец, старик. Но в забытье тоже продолжалась жизнь. Он видел мост, построенный Петей, и шорох осоки, в которой прячется его сын Николай. В руках Николая длинный провод, и он напряженно смотрит во тьму.

— А все-таки придется взорвать, отец.

— Может, как-нибудь по-другому можно? — говорит ему Степан Кузьмич.— А ты все взрываешь. И паровоз мой взорвал, и водокачку.

— Что ты понимаешь? — говорит Колька.— А Остапа-то они повесили? — вдруг спросил он.

И старику сделалось горько.

— Ну, тогда скорее взрывай.

И сын соединяет провода. Он соединяет провода, а по мосту идет немецкий комендант с бледным лицом и целится из пистолета в Николая.

— Ты что же, скрываешься? — кричит, и усы его становятся длинными-длинными, а дуло пистолета тоже растет и превращается в пушку.

— Взрывай же,— кричит сыну Степан Кузьмич,— что же ты ждешь?

И, вскинув винтовку, стреляет в усталые и бесцветные глаза офицера.

А офицер все идет на Кольку и продолжает кричать:

— Ты что ж, скрываться вздумал?

Старик просыпается.

В дверь барабанят приклады винтовок.

«За мной пришли»,— екнуло у него сердце. И он пошел открывать дверь.

Солдаты входят боком, тыча в стороны дула своих пистолетов.

— Пошли,— говорит комендант.

Степан Кузьмич надевает свою железнодорожную шинель и свертывает цигарку.

— Ну! — нетерпеливо говорит комендант.

— Нечего понукать,— отвечает старик,— не запрег.

И, только закурив, вышел впереди конвоя.

— Ты поведешь паровоз,— говорит комендант.— И мы тебе за это заплатим.

— Зачем мне плата? — спрашивает Степан Кузьмич.— Я довезу вас бесплатно.

И он сворачивает к путям.

— Здесь ближе.

На первом пути стоит длинный состав с паровозом во главе. На платформах — тяжелые танки с крестами на броне, автомашины, прожекторные установки и разобранные самолеты. Их охраняют солдаты в стальных касках.

— Ну, поторапливайся,— кричит комендант,— ползешь, как курица.

— Я старик,— говорит Степан Кузьмич.— Я уже отвык торопиться.

Комендант стискивает рукоятку пистолета так, что пальцы его становятся белыми, но пересиливает себя.

«Я знаю, что тебе невыгодно в меня стрелять»,— улыбаясь, думает Степан Кузьмич и идет еще медленнее, завертывая на ходу новую цигарку.

Закурив, он всматривается в товарные вагоны. От них несет запахом пота, табака и водки.

— Семь... Восемь... Девять,— считает Степан Кузьмич.— Тридцать вагонов по пятьдесят человек — полторы тысячи солдат. Большая могила выйдет.

И, выплюнув окурок, старик торопливо подходит к паровозу.

— Вот мы и поедем с тобой,— с грустью, как живому, говорит он, взбираясь по ступенькам.

Комендант что-то приказывает солдатам по-немецки, и трое из них взбираются на паровоз.

— Почетная охрана...— с улыбкой произносит Степан Кузьмич.

— Кидай уголь,— вдруг сердито говорит он одному из конвоиров и показывает глазами на лопату.

Конвоир нерешительно смотрит на остальных.

Те кивают головой, и он, спрятав пистолет, начинает кидать уголь с тендера в лоток.

Состав медленно набирает скорость.

Степан Кузьмич отходит от реверса и прощальным

взглядом окидывает станцию. Мимо паровоза проплывает взорванная водокачка, которую так и не успели исправить немцы, и озябший палисадник, и ветки голой рябины, в которой суетятся синицы.

— Вот и осень,— шепчет старик, молчаливо прощаясь со станцией, на которой родился, провел юность и молодость, чтобы потом, став машинистом, прославить ее своим трудом на всю страну.

Преодолев некрутой подъем, поезд идет по оголенной равнине, изрытой снарядами и окопами.

— А вы тоже фашисты? — хмуро спрашивает старик конвоиров.— «Хайль Гитлер»?

Солдаты в недоумении переглядываются. Потом их лица становятся высокомерными.

— Молчать! — говорит один из них.

Стариком вдруг овладевает ярость. Он отталкивает немца от топки и схватывает лопату. И, чуть откинувшись корпусом, расставив ноги, делает первый бросок угля в топку.

Сердце его колотится. Покрываются потом ресницы. Стиснув зубы и напрягая мускулы, Степан Кузьмич кидает лопату за лопатой в гудящую пасть топки.

— Вот так надо работать,— говорит он и отходит к реверсу.

До моста оставалось семь километров.

Из вагонов неслись дикие солдатские песни. Они не пелись, а как-то выкрикивались.

«Скоро вы другую песню запоете,— подумал Степан Кузьмич.— Семь километров — семь минут. Вы еще успеете допеть свою песню». И, чтобы чем-то еще досадить этим людям, принесшим такое горе, старик потянул за рычаг свистка. Продолжительный и яростный гудок заглушил песни.

Все меньше и меньше оставалось километров до моста.

— Пять,— считал Степан Кузьмич.

— Четыре...

— Три...

И он дал продолжительный и настойчивый гудок. Он давал знать Николаю, что поезд совсем рядом и что пора приготовиться всем кочегарам, кондукторам и машинистам, таящимся там, в речных камышах.

Вот и легкий поворот. Старик чувствует его по наклону паровоза. Показались переплеты моста, освещенные осенним солнцем, и фигуры немецких часовых.

— Два... Один...— шепчет он побелевшими губами и снова берется за лопату, отходя от топки к лотку с углем.

Потом смотрит через плечи конвоиров в окошко и кричит:

— Партизаны!

Немцы кидаются к окошку. Степан Кузьмич распахивает дверку будки и мгновение медлит. Потом бросается под откос.

«Колька!.. Петя!..» мелькает в его сознании. И тут раздается страшный грохот.

Когда он открывает глаза, он видит рухнувший мост, гору вагонов и искалеченный паровоз. Над рекой стоит крик обезумевших людей и стрекот пулеметов.

— Вот вам, сволочи,— шепчет Степан Кузьмич и уползает в кусты, волоча искалеченную ногу.

ПОЛЫНЬ

За пологими курганами, за редким березняком начинались солончаки.

Марина шла позади стада. Она посмотрела на звездное небо, прислушалась к ветру, пахнущему полынью, к скрипу колес и крикнула:

— Правее, девушки! Правее!

Доярки повернули стадо вправо, к балке, к молодому березняку, и вновь истошно, с надрывом запричитали старухи на скрипящих телегах. Они оплакивали родимые места. Они сидели лицом к западу, и косматые вихри пламени горящих сел отражались в их глазах.

— Будь ты, Гитлер, проклят навеки! — задыхаясь от горя, шептали они.— Будь проклята мать, которая тебя родила! Пусть тебя так же гонят по свету, как ты нас гонишь!

И Марина переходила от телеги к телеге и утешала женщин.

Женщины умолкали, застывшим, невидящим взглядом они прощались с западом.

Марина понимала их горе. Каждый двор, каждая хата цеплялись за них, не отпускали. Жалобно скрипели ставни и плакали окна, прощаясь с руками, заботливо мывшими их. Присядешь на завалинку — не отпускает завалинка. Точно живая. Наливает тяжелой тоской руки и ноги — и не встанешь. Не отпускает горница, держит хлевушок для скота. Точно упрекает: «Уходишь...»

А за селом уже бьют зенитки, и летают в черном небе самолеты, задыхающиеся от ярости своих моторов. Не наши самолеты. Немецкие.

— Нет, кары не придумаешь! Земли такой поганой не найдешь, чтоб приняла тебя, изверга!

И необычные, глубокие складки скорби появляются в уголках женских губ.

Чем утешишь этих женщин? Старики не нуждаются в утешении. Молчаливые, злые, они возле телег курят цигарки. Одну за другой. И думают. Их дума тяжела и медлительна. Но когда они решают, ничто не сможет помешать им в том, что они задумали.

— Хватит, бабы,— говорят они хмуро.— Чего уж тут!

Их горе немногословно и скупо.

И только с Мариной они беседуют о том, как томится мужицкая душа.

— Полынь,— говорят они.— Молоко бы у коров не испортилось.

И Марина понимает, что не в молоке дело.

— Все полынью да малинником порастет,— добавляют они.— Что ж ты молчишь, председатель?

— Нет,— говорит Марина,— нет! Полынь не успеет вырасти: мы вернемся.

Скрипят телеги на степных шляхах. От горящих сел, от осиротевших станиц ползут на восток длинные обозы.

«Нет, это не беженцы,— думает Марина.— Это отступление, и, кроме голой земли, ничего не получит враг».

И коровы, триста холмогорских коров, которых гонит на восток Марина, будут по-прежнему давать густое, как сливки, молоко. На высоких мажарах позади стада везут доярки и сепараторы, и маслобойки, и бидоны для молока.

И, оставив мужиков додумывать свои думы, Марина садится на орловца и догоняет стадо. Телята отбились и поползли по солончакам.

— Что же это вы, девушки? — сердится Марина на доярок.

— Они дюже прыткие,— оправдываются девчата.— И леший знает, что это они так лезут в степь?!

Марина подгоняет телят. Стадо ползет по балке, туман покрывает его до голов. Звонко кричат мальчишки-пастухи. Они поют озорные песни, и девчата ругают их за это. Девчата недавно простились со своими парнями и все время думают о них. Печалятся.

У Марины тоже остался там, в тылу у немцев, ее Алеша.

Марина грустно улыбается. Когда окончится война и она вернется в свою Михайловку, Алеша посадит у дома яблони и вишни. И когда у них родится дочь, они обяза-

тельно назовут ее Наташей. Только бы вернулся Алеша живым, и тогда все пойдет хорошо.

Девушка поворачивает коня и возвращается к обозу. Женщины уже не плачут. Они устали от горя и, прислонясь друг к другу и прижимая к груди ребят, дремлют и качаются, и губы их тесно сжаты.

На последней телеге едет старый Анисим. У него омертвели ноги. Как началась война, их разбило параличом. Старуха заботливо ухаживает за ним. Она подложила под него соломы и шубу. И к спине его тоже подложила соломы. Старик сидит, как в кресле, запахнувшись в тулуп, и видит скрывающееся за горизонтом село.

Марина с тревогой всматривается в лицо Анисима. Анисим плачет, не утирая слез. Он безмолвно тоскует.

— Что с тобой, дед? — тихо говорит Марина.

— Так,— говорит Анисим.

— Не надо,— говорит Марина.— Им ничего не осталось. Хлеб, скот и машины мы вывезли. А если избы сгорят, мы новые построим.

— Я так,— шепчет Анисим.— Проклятые ноги...

И тихо, совсем тихо просит:

— Довези меня, Маринка, обратно. Невмоготу мне так. Я на руках доползу до своей хаты. Семь лет я дожидался осени. Все мечтал.

— Совсем одурел старик,— запричитала женщина.— Как выехали, так и затосковал.

— Да о чем же ты мечтал? — пожала плечами Марина.

— Пшеница... Хлебушко... Моя пшеница!..— страстно зашептал старик.— Отвези меня, Мариночка, обратно. Жизни нет моей теперь. Все опостылело. Весь свет стал не мил. Я семь лет дышал над нею, как над малым дитем. Землей испытывал, холодом испытывал, жарой испытывал. Я вовек не забуду твоей милости, Мариночка. Мне бы хоть пять колосков собрать. Мне бы только до клуни доползти и сохранить хотя бы десять зернышков.

Марина соскочила с седла.

— Остановись, бабусь,— сказала она старухе и сама потянула вожжи.— Что же ты раньше-то мне не сказал, дед Анисим? Что же ты раньше молчал? — осердилась она.— Да ведь они истопчут ее, гады?

— Это я его попутала,— в страхе призналась старуха.— Надо уезжать, а он ползет к бане. Я и сказала ему, что, мол, пшеницу твою убрали. А потом призналась в степи, что обманула,— он и затосковал. Хоть бы побил меня, что ли, только бы успокоился.

— Эх ты, бабуся! — сказала Марина и, остановив обоз, сообщила мужчинам, что она ненадолго возвращается в село и скоро вернется.

И, вскочив на рысака, Маринка свистнула нагайкой над его крупом. Через минуту орловец скрылся во тьме.

— Дай ей бог счастья,— перекрестилась старуха.

* * *

В опустевшее село входили немцы.

Марина спрятала коня в ольшанике у речки и ползком добралась до хаты деда Анисима. Дверь хаты была раскрыта настежь, и на пороге сидел белолобый котенок. Он жалобно мяукал и звал мать. Матери не было, и котенок умывал мордочку правой лапой и косился на ночные звезды. Там летели самолеты. Они летели низко и застилали своими крыльями звезды.

Над деревней они сбросили осветительную ракету, и, когда она стала медленно снижаться, Марина увидела в огороде, у бани, высокую грядку пшеницы деда Анисима. Дед, заведующий хатой-лабораторией, прославил этой пшеницей колхоз на всю республику. Он семь лет выращивал ее, и о нем писали все газеты, и седые академики приезжали к деду Анисиму, и называли его пшеницу «мужицким чудом», и говорили, что дед Анисим — это Мичурин в хлеборобстве, и что человечество будет благодарно ему за его пшеницу.

И девушка с трепетом притронулась к тяжелым колосьям полегшей пшеницы. Она сорвала несколько колосьев и растерялась. Она позабыла взять мешок. «Ничего. В карманы наберу»,— подумала она и лихорадочно стала набивать карманы пальто тугими колосьями.

Почуяв запах человека, котенок покинул порог избы. Он подбежал к девушке и стал тереться мордой об ее руки.

— Уйди ты! — невольно улыбнулась Марина и озабоченно поглядела на запад.

Оттуда ветер доносил тяжелый грохот танков и стрекот пулеметов. По улице бежали солдаты. Вот один из них бросился к хате деда Анисима. Девушка упала в борозду между грядами и отползла к бане. Солдат через минуту вышел из хаты и побежал дальше.

Девушка продолжала работу. Она очистила от колосьев уже полгряды, когда по селу стали бить пушки отступающих наших частей.

Немецкие мотоциклисты повернули к околице и дали дорогу своим танкам.

Карманы были туго набиты.

Девушка отвязала от двери у бани тонкую бечевку и опоясалась. Она не хотела оставить на грядке ни одного колоска. Она перевязала платье бечевкой и стала складывать колосья за пазуху. Они были чуть холодноватые и колючие. Но, стиснув зубы и порывисто дыша, девушка ползла по грядке, отрывая от жестких и упругих стеблей колосок за колоском.

— Ничего вам не оставим, ничего...— шептала она, вкладывая в эти слова всю свою ненависть и все свои надежды.

Оставалось снять еще с четверть гряды, когда заработали бомбардировщики и село вспыхнуло с обоих концов.

Пламя с шелестом и свистом рванулось к ометам соломы, к избам и амбарам. Пламя прыгнуло на хату деда Анисима, и, точно облитая бензином, запылала крыша сарая.

Горячий воздух пахнул в лицо девушки, и котенок в страхе прижался к ее ногам.

«Что же, придется уходить,— подумала Марина и прощальным взглядом окинула клочок неубранной пшеницы.— Пусть и она горит»,— решила девушка и, выхватив из сарая пук горящей соломы, положила его на гряду.

Пламя побежало по гряде и донесло до Марины горький запах горелого хлеба.

— Вот и все,— сказала Марина и, схватив котенка, проскочила сквозь горящие ворота, к речке, к ольшанику...

Рысака она уже не нашла. Он испугался взрывов и, оборвав повод, ускакал в степь.

Но девушка не огорчилась этим. Радостная и возбужденная, она пробиралась меж зарослей ольшаника и малинника к степи и улыбалась, вспоминая солончаки и полынь — горькую траву.

«Ничего, дед Анисим! Получишь ты золотую медаль, а полынь не успеет вырасти. Не успеет!» И улыбалась в темноте, наполненная каким-то особым, не изведанным ею счастьем.

ДРУГ ДАЛЕКИХ СТОЙБИЩ

В городском поселке Лельчицы Гомельской области стоит обелиск. Надпись золотыми буквами на мраморной плите:

«Здесь похоронены воины Советской Армии и партизаны во главе с членом ЦК ВЛКСМ Иваном Артемьевичем Задорожным и писателем Иваном Николаевичем Меньшиковым».

Я увидел эту надпись двадцать пять лет назад, и мне захотелось узнать, какими были люди, отдавшие жизнь за Родину и погребенные здесь.

Многие годы я вел переписку с Центральным государственным архивом литературы и искусства СССР, Музеем ЦК ВЛКСМ, Союзом писателей СССР, принимал участие в розыске родственников погибших, собирал документы, фотореликвии, письма, воспоминания.

Особенно много материалов удалось собрать о жизни и творчестве Ивана Меньшикова — комсомольского журналиста, писателя, страстного патриота. Они оказались настолько значительными и интересными, что возникла мысль о создании здесь, на месте гибели писателя, а позднее и на его родине, в с. Айлино Челябинской области, музеев Ивана Меньшикова. Предложение это было горячо поддержано учителями и учащимися Лельчицкой и Айлинской школ, а также писателями, знавшими Ивана Меньшикова: Константином Симоновым, Валерием Кирпотиным, Юрием Нагибиным, Виктором Тельпуговым, Григорием Коноваловым, Леонидом Жариковым, Павлом Железновым, Сергеем Бородиным, Евгением Долматовским и другими.

Сейчас в Лельчицком школьном музее-уголке И. Меньшикова, в Гомельском и Челябинском областных, Нарьян-Марском окружном, Саткинском городском краеведческих музеях, в Айлинской мемориальной комнате хранятся книги писателя: «Полуночное солнце», «Друзья из далекого стойбища», «Повести и рассказы», «Человек не хочет умирать», «Человек ищет счастья», «Рассказы», «Уста, говорящие правду», «Смертная переправа», «Когда прилетят скворцы», «Горящее сердце

Данко», изданные в Москве, Архангельске и Минске, фотокопии документов, присланные из Центрального государственного архива литературы и искусства СССР, письма родных, воспоминания друзей писателя.

Читателям, взявшим в руки данную книгу Ивана Меньшикова, хочется представить некоторые экспонаты из этих музеев.

...Копия автобиографии Ивана Меньшикова, написанной им 13 мая 1942 года. Очевидно, она была подготовлена вместе с документами, необходимыми для отправки его на фронт, в Действующую армию:

«Родился в 1914 году в семье крестьянина, село Айлино Саткинского района Челябинской области. Окончив сельскую школу, а потом ШКМ, переехал к отцу, которого как изобретателя вызвал сюда (в Москву.— Д. М.) Совнарком РСФСР.

В 1930 году я поступил в авиатехникум ЦАГИ, который не удалось закончить из-за тяжелого материального положения семьи.

Я поступил работать в газету Московской окружной железной дороги, работал в одной фабричной многотиражке в Москве.

В 1934 году я уехал работать в Арктику (Ненецкий национальный округ Архангельской области) в качестве журналиста. Там, в ноябре, в сущности, и начал свою литературную деятельность (собирал песни, сказки, материалы, которые потом мною были использованы в пяти книгах, изданных и издающихся в Москве и Архангельске).

С 1936 года живу в Москве, работаю в различных газетах и журнале «Колхозник».

В 1938 году после выхода двух моих книг перешел целиком на творческую работу. В 1941 году, с начала войны, работаю очеркистом «Комсомольской правды» и одновременно пишу рассказы».

...С первых дней Великой Отечественной войны Иван Меньшиков рвется на фронт. Но не сразу удалось ему добиться этого.

20 июля 1942 года Меньшиков обращается с заявлением в Оборонную комиссию Союза советских писателей [1].

«ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Оборонную комиссию возбудить ходатайство перед Политуправлением РККА о посылке меня на фронт, в Действующую армию, так как год работы в «Комсомольской правде» дал мне возможность хорошо узнать только тыл, а для полноценной творческой работы мне требуется еще знание и фронта.

Вкратце сообщаю, что я делал до войны и за время ее.

Начиная с 1934 года я написал пять книг повестей и рассказов об Арктике и ненецком народе: «Полуночное солнце», «Человек не хочет умирать», «Легенда о Таули из рода Пырерко», «Друзья из да-

---

[1] Этот документ был опубликован в книге «Строка, оборванная пулей» («Московский рабочий», 1976).

лекого стойбища», «Человек ищет счастья». Все они, за исключением последней, издание которой задержалось издательством из-за войны, печатались в различных журналах и вышли отдельными изданиями.

За время войны, работая очеркистом в газете «Комсомольская правда», я напечатал двадцать пять очерков о колхозной деревне во время войны, написал около двадцати рассказов, которые передавались по радио и печатались в центральных журналах. Эти рассказы выходят книгой «Сын Великого Новгорода» в издательстве «Молодая гвардия».

И самая последняя моя работа — это трехактная пьеса о Герое Советского Союза Лизе Чайкиной, названная по имени героя. Пьеса уже принята к постановке Первым фронтовым комсомольским театром, и ее в скором времени увидит зритель. Помимо этого, пьеса должна издаваться «Молодой гвардией» большим тиражом для совхозно-колхозных театров и сельских драмкружков...

На фронте я могу выполнять любую работу, начиная от репортерской и кончая работой по написанию истории какой-либо части. Желательно на Северном фронте, более близком по духу моего творчества...

И. Меньшиков.»

...Последняя запись в дневнике писателя, от 21 апреля 1943 года:

«...Сегодня-завтра уезжаю в немецкий тыл. Полностью обмундирован и вооружен. Будем выпускать в оккупированной немцами Белоруссии и на Украине «Комсомольскую правду». 19 апреля был принят в кандидаты партии, и это как-то изменило во мне что-то. Точно прошло мое детство, юность и наступило мужество. Как много надо и можно сделать. Удивительно, что, уходя в неизвестность, я как-то ни мгновения не чувствую своей обреченности, страха за себя. А ведь возможно все...»

...Перед отправкой во вражеский тыл Иван Меньшиков зашел попрощаться к писателю Николаю Зотовичу Бирюкову, с которым его связывала большая творческая дружба.

Родные Бирюкова, которые живут в Ялте, так написали об этой встрече:

«Последний раз он был 20 или 21 апреля 1943 года. Визит его был очень коротким. В сером плаще и такой же кепи, он постоял у кровати Николая Зотовича несколько минут, сесть отказался, очевидно, куда-то спешил. Его черные большие глаза были полны тревоги. Сообщил, что на днях летит в немецкий тыл к партизанам, а куда именно — об этом умолчал.

Через несколько дней в газетах — некролог. Не верилось, не хотелось верить — ведь только что, совсем недавно мы видели его — живого, молодого, энергичного. Тогда ему было всего 29 лет...»

...Некролог «Памяти И. Меньшикова», напечатанный в журнале «Литература и искусство» от 25 мая 1943 года:

«На днях трагически погиб Иван Меньшиков. Мы знали этого молодого талантливого писателя по его книгам о людях Севера, о возрожденном революцией ненецком народе, по его ярким очеркам и рассказам о молодежи колхозной деревни, печатавшимся в «Комсомольской правде», где он последние годы работал.

Иван Меньшиков горячо любил свою Родину, ее людей. Он много ездил по необъятным просторам Отчизны, умел видеть многообразие жизни. Его особенно влекла деревня, с которой он был кровно связан, которую близко знал и любил. Больше двух лет Иван Меньшиков провел в Арктике в Ненецком национальном округе, с увлечением работал в газете «Красный тундровик» и собирал материалы для своих будущих книг. Художественным итогом работы на Крайнем Севере явились книги Ивана Меньшикова «Друзья из далекого стойбища», «Человек не хочет умирать», «Человек ищет счастья» и другие.

В дни Великой Отечественной войны Меньшиков ярко и правдиво писал о жизни советского тыла. Его повести, рассказы и очерки приобрели заслуженную популярность у советской молодежи.

Совсем недавно Меньшиков был послан в один из партизанских отрядов в качестве корреспондента «Комсомольской правды». Молодой писатель-патриот с радостью принял это почетное задание.

Тяжело осознавать, что смерть оборвала кипучую многообещающую жизнь нашего друга, воспитанника Ленинского комсомола, верного сына большевистской партии. Он погиб на посту, как солдат. Он будет всегда жить в нашей памяти, оставаясь примером честного и мужественного служения Родине».

...Очень многие писатели прислали для музея свои воспоминания об Иване Меньшикове. Вот некоторые из них.

Константин Симонов:

«Я знал Ваню Меньшикова больше десяти лет. Мы вместе начинали писать и вместе с первыми своими вещами приходили в литературную консультацию Гослитиздата и, помнится, печатались в одном и том же сборнике молодых «Смотр сил». Уже тогда, будучи совсем молодым парнем, Меньшиков выделялся своей серьезностью, хорошей привычкой много и тщательно думать над каждым произносимым словом, твердым жизненным правилом писать только о том, что он хорошо и глубоко знал.

Однажды он пришел ко мне и сказал, что ему непременно хочется писать об Арктике.

— Ну что же, съезди в командировку,— сказал я ему.

— Я, собственно, и пришел проститься.

— Очевидно, до осени? (Разговор был весной).

— Нет,— улыбнулся он,— на два года.

— Уезжаешь на два года?

— Да, подписал договор. Буду там два года работать. Все же но-

вое, тут тремя месяцами не отделаешься. Столько узнать нужно! Я боюсь, что и двух лет-то не хватит.

Слова у него никогда не расходились с делом, и через два дня он уехал.

Меньшиков поехал на Север не смотреть — он ехал жить и работать, принципиально считая, что людей по-настоящему можно узнать только тогда, когда работаешь с ними, а не тогда, когда смотришь на них. Результаты этой поездки известны. В пяти книгах, написанных Меньшиковым о Севере, есть ряд отличных рассказов, в которых чувствуется не только знание предмета, но и — что главное — большое, истинное понимание психологии людей, живущих в тяжелой обстановке Крайнего Севера.

В моей памяти стоит молодой, невысокий, коренастый парень, веселый, упрямый, ищущий собственны дороги в жизни и литературе.

За свою короткую жизнь Иван Меньшиков выпустил несколько хороших книг, но его умение страстно работать, его настоящее подвижническое отношение к труду писателя, наконец, вся его личность, характер, человеческие повадки говорили о том, что ему, несомненно, предстоит сделать еще очень много».

Поэт **Георгий Суфтин** впервые встретился с Иваном Меньшиковым, когда тот приехал в долгую командировку в Заполярье.

В своих воспоминаниях он пишет:

«В редакцию газеты «Нярьяна вындер» пришел застенчивый юноша и, слегка краснея, сказал:

— Я буду у вас работать.

Мы, считавшие себя матерыми заполярными волками, потому что прожили в Нарьян-Маре уже не один год, снисходительно хихикнули. Неказистый вид юноши, почти мальчика, в мешковатом, не по росту, пиджаке и в сереньких хлопчатобумажных брюках, произвел на нашу закаленную полярными морозами братию далеко не лестное для него впечатление.

— Что же вы здесь будете делать?

— А все, что придется,— просто ответил юноша, улыбнувшись так хорошо и душевно, что наши тундровые сердца немного оттаяли...

...Так появился у нас новый сотрудник — Иван Меньшиков. Мы с ним подружились с первых же дней. Простота и непосредственность, любопытство к жизни, немножко наивная восторженность и, наконец, почти детская беспомощность в самых простых житейских делах — все было в нем так свежо и чисто, что невольно привлекало к себе...»[1]

«Раньше мне казалось, что творчество Ивана Николаевича Меньшикова, большею частью связанное с Крайним Севером, с жизнью малого по численности ненецкого народа, со временем останется в

---

[1] Г. Суфтин. Заполярные встречи. Архангельское книжное издательство, 1961.

культурном фонде именно этого региона,— вспоминает известный московский литературовед и критик **Александр Михайлов**, живший в тридцатых годах в Нарьян-Маре.— Теперь же, по прошествии нескольких десятилетий, очевидно, что произведения этого талантливого и, к великому сожалению, так рано ушедшего из жизни писателя имеют куда более значительный идейно-художественный вес, что они являют собою заметные страницы в контексте всей советской литературы тридцатых годов и не утратили интереса по сей день...

Сейчас его произведения дороги нам тем, что они сохранили в себе атмосферу времени, тот дух высокой романтики, который вел молодых людей типа Тони Ковылевой, одной из героинь Меньшикова, и самого писателя на самые трудные участки социалистического строительства. Как живые, предстают перед нами персонажи его повестей и рассказов — ненцы, молодые и старые, повернувшиеся лицом к Советской власти и еще находящиеся в плену вековых привычек.

Я по опыту знаю, сколь трудно заставить ненца рассказать сказку на русском языке. Меньшиков за короткое время узнал множество ненецких сказок, легенд, преданий, они питали его творческую фантазию, их органическое использование сообщало рассказам и повестям Меньшикова неповторимый национальный колорит и вдохнуло в них поэзию белых ночей и северного сияния.

Если говорить о наиболее характерной черте писателя и человека Ивана Меньшикова, то ее можно выразить кратко: активное отношение к жизни. По складу своего характера он не был и не мог быть наблюдателем. Меньшиков не смог бы с таким проникновением, искренностью и знанием дела рассказать о ненцах, если бы сам не был участником описываемых событий.

В годы войны Иван Меньшиков работал в «Комсомольской правде». Помню, как маленькая, в скромном переплете книжечка «Смертная переправа» попала к нам на фронт в годы войны, кажется, в начале 1944 года. Тогда я ничего не знал о судьбе Ивана Меньшикова, и знакомая фамилия на обложке книги, которой зачитывались в солдатской землянке, естественно, привлекла мое внимание. Мне, свидетелю первых успехов Ивана Меньшикова в литературе, нелегко было примириться со смертью писателя. Но в те годы мы привыкли к утратам, как бы горьки и тяжелы они ни были. И я с жадностью читал уже изрядно потрепанную книжечку, узнавая в ее авторе образ человека, хорошо известного по его книгам, по личным встречам.

Я рад был этой книжечке как встрече с добрым старым другом, рад был тому, что и после своей смерти Меньшиков оставался на линии огня, поднимая боевой дух тех, кто продолжал трудную работу войны».

Виктор Тельпугов, работавший с Меньшиковым в редакции «Комсомольской правды»:

«...Иван Меньшиков был высокоодаренным человеком, но он погиб

слишком рано, поэтому его возможности раскрыты перед нами частично, и кто знает, сколько замечательных книг о нашем времени, о наших современниках унесла его смерть!..

Но и то, что осталось, те рассказы и повести, которые И. Меньшиков успел написать,— драгоценный вклад в нашу литературу. Все, что создал Иван Меньшиков, и сегодня, много лет спустя, читается как написанное в наши дни свидетелем и участником событий нынешних и недавно минувших дней. Почему так происходит? По единственной причине — Меньшиков был теснейшим образом связан с жизнью, в герои брал людей, которых знал доподлинно, а не по книгам других писателей и в людях этих находил черты, роднящие их с героями грядущих лет. Учительница и пионеры-ненцы, вырастившие картошку на Крайнем Севере за много лет до Великой Отечественной войны,— разве в них не узнаем мы учительницу и пионеров наших дней, всегда готовых на любой подвиг во имя Родины! Такие писатели, как Иван Меньшиков,— гордость нашей литературы. Слава им великая! Преклоняю голову перед его светлой памятью».

...А вот отрывок из воспоминаний писателя **Юрия Нагибина:**

«Я принес Меньшикову на суд свои первые рассказы. Меньшиков, выпустивший уже две книги и подготовивший третью, был в моих глазах метром, и я испытывал перед ним трепетную робость, не уменьшавшуюся от того, что метр встретил меня на пороге избы в одних трусах, с удочками на плече. Усевшись на приступке, он буквально впился в рассказы. Меньшиков и вообще читал так, как иные едят: погруженно, самозабвенно, двигая челюстями и надбровными дугами, он словно на зуб пробовал текст. В тот раз пища не пришлась ему по вкусу, и он, как говорится, не пощадил моей молодости. Это была еще одна прекрасная черта в нем — он никогда не лгал, не кривил душой в деле литературы, ни единого слова неправды не мог сказать ни другу, ни недругу. Если он почему-либо не симпатизировал человеку, а человек написал хорошо, он первый говорил о его успехе, и даже лучшим друзьям не боялся он кидать в лицо самую горькую правду, коль они того заслуживали. И того же требовал в отношении себя. Плохая литература доставляла ему почти физическое страдание, и в ту первую встречу я только потому на него не обиделся, что почувствовал: ему так же больно, как мне. И мало кто умел так восхищаться каждым талантливым свежим словом, как Иван Меньшиков. Однажды он прибежал ко мне ночью, когда трамваи и автобусы давно уже спали в парках, чтобы поделиться радостью, доставленной ему только что прочитанной талантливой «Повестью о суровом друге» Леонида Жарикова...

Помню, в середине апреля 1940 года я встретил Ивана Меньшикова на площади Свердлова.

— Бегу за билетами в «Стереокино»,— сказал он, торопливо пожав мне руку.— Явтысый приехал.

Я был не меньше поражен этим известием, чем если б услышал о приезде Тиля Уленшпигеля или Дон Кихота. При всей жизненности героев Меньшикова я все-таки не предполагал, что он выводит реальных людей, да еще под собственными именами,— в рассказах явственно ощущался тот художественный вымысел, без которого невозможна настоящая литература. Недаром же совокупность написанного писателем называется собранием сочинений. Позже, побывав на Севере, я понял, что Иван Меньшиков мог себе это позволить: он писал правду — не голую правду мелких фактов, а высшую поэтическую правду о своих друзьях из далекого стойбища. И ненцы, крайне чувствительные к правде и неправде печатного слова, сердцем понимали эту высшую правду рассказов Меньшикова. Ненцы всегда поют правду — о том, что видят, что есть на самом деле, и поют красиво,— рассказы Меньшикова они называют песнями. Они любили его при жизни, они сотворили о нем легенду после смерти...

...То немногое, что писалось до Меньшикова о ненцах, было или малохудожественно, или непознавательно в грубой своей экзотичности. Меньшиков открыл миллионам читателей подлинную, чудесную, поэтическую душу ненецкого народа, едва ли не самого забитого и многострадального среди народов царской России, с редкой выразительностью показал его борьбу за жизнь, счастье и будущее...» [1]

...Сын первого наркома просвещения **Анатолий Анатольевич Луначарский,** позднее тоже погибший на фронте, в журнале «Молодая гвардия» опубликовал в 1941 году интересную статью о творчестве Ивана Меньшикова: «Большая тема».

«Приглядитесь к этому автору: три книжки вышли уже из-под его пера. Чему же они посвящены, что читатель находит в любой из них? Подымаясь зачастую до высокой художественной силы, Иван Меньшиков рисует абсолютно доселе нам незнакомый мир обитателей Заполярья — ненцев-оленеводов. С каким восторгом воспевает он красоту тундры с ее ослепительными «фиолетовыми снегами», «солнцем, розовым, как мясо семги», с сопками, «похожими на выброшенных морем китов», «зорями, алеющими, как глухариная бровь», с «оранжевой луной» и «с синеватыми тенями, похожими на оленьи рога». Как часто мелькают в повествовании его никогда еще не слышанные нами слова «аргиш», «тадибей», «хабеня», «тадебции», «хад» и т. д. и т. д.! А с каким удовольствием живописует автор внешний вид, а также законченную внутренность кочевничьего жилища — чума, как он смакует ненецкую кулинарию, все эти «стружки семги, тающие, истекая жиром на медном блюде», «толстые хвосты очищенной от чешуи пеляди», «сярки» (чарки) разбавленного водой спирта или «сырой тепловатой

---

[1] И. Меньшиков. Повести и рассказы. М.: Гослитиздат, 1958. Предисловие Ю. Нагибина.

оленьей крови», как тщательно выписываются им меховые одежды во всех их частях и разновидностях (сюма, малица, совик, тобоки из шкуры нерпы, пимы из шкурок, взятых с оленьих ног, паница и пр. и пр.). И обратите внимание: действующие лица у него ни за что не скажут «ладно», «очень хорошо», «здравствуйте», а непременно — «тарем», «сац саво», «ань-дорова-те», да и сам автор явно предпочитает понятным определениям «холм», «речка», «стойбище» ненецкие их наименования «саундей», «виска», «парма».

У книг Ивана Меньшикова завидная судьба. Они никогда не залеживались на книжных полках и находили все новых и новых читателей, занимали достойное место в библиотечных фондах страны.

Появление каждой книги писателя было большим культурным событием, и зачастую они сопровождались рецензиями в печати. Так, с рецензиями на книги Ивана Меньшикова «Друзья из далекого стойбища» и «Человек не хочет умирать» дважды выступала в 1940 и 1941 годах в «Литературном обозрении» известный ныне критик-очеркист и литературовед Наталья Ивановна Четунова.

В журнале «Наша страна» (1940 г.) также была напечатана рецензия на северные рассказы Ивана Меньшикова журналиста из нарьян-марской окружной газеты Николая Леонтьева — ныне известного советского поэта и прозаика. Вместе с Иваном Меньшиковым он работал в 30-е годы в этой газете и больше, чем кто-либо другой, знает жизнь ненцев. Н. Леонтьев дал высокую оценку его творчеству:

«...Автору удалось воспроизвести чудесный процесс обновления тундры. Недавно еще бесправные темные пастухи, охотники, рыбаки почувствовали себя хозяевами своей родной земли. Их действия продиктованы пробудившимся и крепнущим классовым самосознанием. Их слова не придуманы автором, а взяты из жизни. Оттого от рассказов И. Меньшикова веет ароматом неподдельной правды, оттого читатель следит с волнением и любовью за судьбой героев...

Глубокий оптимизм, неподдельная любовь к изображаемым людям, радость за их светлое настоящее и прекрасное будущее — вот что характерно для сборника рассказов «Человек не хочет умирать».

Уже на первую книгу рассказов Ивана Меньшикова «Полуночное солнце», вышедшую в Архангельском книжном издательстве в 1938 году, в журнале «Молодая гвардия» была напечатана рецензия Н. Николаевой, а «Литературная газета» в 1939 году опубликовала статью «Значение героического» Семена Нагорного о книге Ивана Меньшикова «Человек не хочет умирать».

В довоенные, в годы войны и послевоенные годы в центральной периодической печати публиковалось много статей и рецензий о творчестве Ивана Меньшикова: «Большая тема» А. А. Луначарского, «Друзья из далекого стойбища» И. Гринберга, «Песня о тундре» А. Михайлова, «Под сиянием Нгер Нумгы» Е. Коковина, «В стране

белого снега» Ю. Нагибина, «Человек ищет счастья» А. Левинтова, «Повести и рассказы о людях Севера» К. Ерымовского, «Героика повседневности» Ю. Письменного, «Рассказы Ивана Меньшикова» А. Исаева, «Голос друга» Н. Синицына, «Мой заполярный друг» Г. Суфтина.

Весомый вклад в дело сохранения памяти писателя и литературного наследия Ивана Меньшикова внес известный критик и литературовед Александр Алексеевич Михайлов, издавший отдельной книгой в Архангельском книжном издательстве (1959 г.) литературный портрет «Иван Меньшиков».

Писатель-москвич Константин Лапин опубликовал ряд больших очерков и статей о своем друге: «Земля, частицей которой ты стал...» в книге «В редакцию не вернулся» (Политиздат), «Он не стареет, мой друг Ваня...» в еженедельнике «Литературная Россия», «Наш собственный корреспондент» в газете «Комсомольская правда», «Имени павших...» в «Литературной газете».

Короткую, но яркую жизнь прожил Иван Николаевич Меньшиков, наделенный в числе прочих тремя хорошими качествами: литературным талантом, исключительной скромностью и большим трудолюбием.

Его именем названы улицы в городе Нарьян-Маре, в белорусском поселке Лельчицы и селе Айлино, на родине писателя.

Имя Ивана Меньшикова увековечено в Центральном Доме литераторов среди других имен писателей-москвичей, погибших в годы Великой Отечественной войны, и на бронзовом мемориале в холле редакции газеты «Комсомольская правда», в числе шестнадцати военных корреспондентов, не вернувшихся в редакцию с войны.

Два музея, созданных в Лельчицкой и Айлинской средних школах, бережно сохраняют память об Иване Меньшикове и проводят большую работу по воспитанию молодежи на примере жизни писателя-патриота. Пионерские дружины этих школ с гордостью носят имя Ивана Меньшикова.

В 1984 году Ивану Меньшикову исполнилось бы семьдесят лет. По рукописям, оставшимся незавершенными: роману «Отчизна», повести «Ночь перед войной», киносценариям, многим рассказам, очеркам,— нетрудно представить, сколько замечательных книг о войне и послевоенной жизни унесла его преждевременная смерть. Но и то, что успел написать Иван Меньшиков,— весомый вклад в многонациональную культуру страны.

Дмитрий Маслов, журналист

Словарь
ненецких слов и выражений

Ань-дорова-те — здравствуйте.

Аргиш — оленья упряжка.

Красный город — г. Нарьян-Мар.

Латы — доски в чуме вокруг костра.

Малица — род шубы из оленьей шкуры.

Мокодан — дымовое отверстие в чуме.

Нгер Нумгы — Полярная звезда.

Нум — языческое божество.

Нюки и поднючья — оленьи шкуры, покрывающие чум.

Нялока — теленок оленя.

Паница — женская оленья шуба.

Парма — стойбище.

Пензер — бубен шамана.

Пунух — тундровый воробей.

Саво, сац саво — хорошо, очень хорошо.

Совик — одежда, надевается на малицу шерстью наружу.

Сюма — меховая шапка, пришитая к малице.

Сярка — чарка водки, спирта.

Тадебцин — духи, вызываемые шаманом.

Тадибей — шаман, заклинатель, знахарь.

Тарем — ладно, согласен, пусть будет так.

Тобоки, липты — обувь из оленьих шкур.

Тынзей — аркан для ловли оленей.

Хабеня — русская женщина.

Хад — тундровый буран.

Хорей — шест для управления оленьей упряжкой.

Яра — кустарник, тундровый тальник.

Ямдать — перекочевывать.

Ясовей — проводник.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

РАССКАЗЫ

Иван Николаевич Меньшиков

БЕССМЕРТИЕ

Составитель
Дмитрий Максимович Маслов

Редактор *Л. Д. Новикова*
Художник *Ю. Г. Сущих*
Худож. редактор *Я. Н. Мельник*
Техн. редактор *О. Я. Понятовская*
Корректор *Л. А. Ильина*
ИБ № 1105

Сдано в набор 7.12.83. Подписано в печать 27.03.84. Формат 84×108/32. ФБ04211. Бумага тип. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 8,82. Усл. кр.-отт. 9,19. Уч.-изд. л. 9,81. Тираж 30 000 экз. Заказ № 2904. Цена 1 р.

Южно-Уральское книжное издательство, 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 2. Областная типография Челяб. обл. управления издательств, полиграфии и книжной торговли, 454000, г. Челябинск, ул. Творческая, 127.

ОПЕЧАТКА

Напечатано: Цена 1 р.

Следует читать: Цена 80 к.

80 к.

Челябинск
Южно-Уральское
книжное издательство
1984